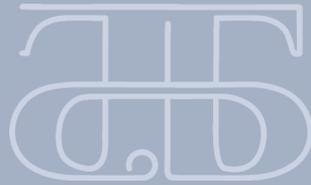


№ 15 (№ 2/2022)

# БЕРЛИН.БЕРЕГА

Литературный журнал

Literaturzeitschrift BERLIN .BEREGA



## В НОМЕРЕ:

- **Ахим Дитцен**  
„Да, Ханс Фаллада — мой отец, но я слишком плохо знал его“, интервью
- **Христиан Гофман фон Гофмансвальдау**  
Переводы стихов
- **Даша Эдлер**  
О книге Кати Петровской  
*Das Foto schaute mich an*
- **Анастасия Юркевич**  
Стихи



## Редакция | Redaktion:

Главный редактор: **Григорий Аросев** | Chefredakteur: **Grigorii Arosev**

Редакторы | Fachredakteure:

Поэзия: **Женя Берг Маркова** | Poesie: **Genia Berg Markova**

Проза: **Мария Родина** | Prosa: **Maria Rodina**

Проза: **Михаил Шлейхер** | Prosa: **Michael Schleicher**

Критика, публицистика: **Ирина Мург** | Kritik, Publizistik: **Irina Murg**

Переводы: **Эдуард Лурье** | Übersetzungen: **Eduard Lurje**

Вёрстка: **Мария Аросева** | Layout und Satz: **Maria Aroseva**

Тексты на немецком языке: **Герд Буссинг** | Deutsche Texte: **Gerd Bussing**

Herausgegeben von der Redaktion der Zeitschrift

---

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

Diese Zeitschrift ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Gesamtherstellung: Simon Verlag für Bibliothekswissen,  
Riehlstraße 13, 14057 Berlin, Deutschland  
[www.simon-bw.de](http://www.simon-bw.de) | [www.berlin-berega.de](http://www.berlin-berega.de) | [berlin.berega@gmail.com](mailto:berlin.berega@gmail.com)

Druck und buchbinderische Verarbeitung Buchbinderei Art-Druk, Stettin  
ISSN 2366-3510

Copyright © 2022 Simon Verlag für Bibliothekswissen, Berlin  
Copyright Texte © 2022 liegt bei Autoren

Alle Rechte vorbehalten

# Содержание

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ВИКТОР КАГАН — Из надежды наивной и странной, стихи.....	5
ЖЕНЯ БЕРКОВИЧ — Возьми на себя боль, стихи.....	15
МИХАИЛ ШЛЕЙХЕР — «Цветы опять свежи и новы, и роща дивно зелена», рассказ .....	24
АНАСТАСИЯ ЮРКЕВИЧ — Предвосхищенье чуда, стихи .....	38
АЛЁНА ТАЙХ — Зачем уезжать в города, где нету нас, стихи. Послесловие Натальи Бельченко.....	43
МИХАИЛ ЛИБИН — Сосед, Ветер, Тридцать три, рассказы .....	50
ГЕНРИХ ШМЕРКИН — Горячая линия, Дым отечества, рассказы.....	57
ИННА КРАСНОПЕР — В нашем городе, стихи.....	61
ОЛЬГА БРАГИНА — Будущее наступило и у него оказались твои глаза, стихи.....	71
ДМИТРИЙ ДРАГИЛЁВ — Пятый календарь Хуучина Зальтая, фрагмент из романа «Некоронованные».....	79

## ПЕРЕВОДЫ

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА — Ключи к экономному лесу. Дальман и его миры — дальние, но близкие .....	93
ЙОНАС-ФИЛИПП ДАЛЬМАН — В экономном лесу, рассказ. Перевод Екатерины Васильевой.....	95
ВЕРОНИКА ШМИТТ — Христиан Гофман фон Гофмансвальдау .....	103
ХРИСТИАН ГОФМАН ФОН ГОФМАНСВАЛЬДАУ, стихи. Переводы Вероники Шмитт.....	108

## ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АХИМ ДИТЦЕН — «Да, Ханс Фаллада — мой отец, но я слишком плохо знал его», интервью.....	130
АННЕЛИ БАХМАЙЕР — «Грин был кем угодно, но только не советским образцовым писателем», МОНОЛОГ .....	151

## ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА

ДАША ЭДЛЕР — Каталогизация памяти, рецензия на книгу Кати Петровской <i>Das Foto schaute mich an</i> .....	155
МАЙЯ САЛИХОВА — История «Берлинале» — хроника, имена, звёзды, сплетни, рецензия на книгу Алексея Дунаевского „Берлинале. Неофициальная история премии“ .....	162
ЮЛИЯ ЛЕБЕДЕВА — Русские берёзы, еврейская эмиграция, азербайджанское прошлое и немецкие будни — всё переплетено, размышления по поводу книги Ольги Грязновой <i>Der Russe ist einer, der Birken liebt</i> и фильма по этой книге .....	166
ЛЕЙЛИ НАРИМАНОВА — По-чешски о Москве в Вене, о спектакле „Норд-Ост“ по пьесе Торстена Бухшттайнера.....	169
Сведения об авторах.....	171
Kurze Zusammenfassung .....	171

Виктор Каган

### Скрізь плач...

*Скрізь плач, і стогін, і ридання...*

*Леся Українка*

Рифмы избитой высокая нота.  
Слёзы, как дни по щекам, солонны.  
Что за скупая господня щедрота —  
жизнь от безгрешья до смертной вины.

Телу в земле раствориться дорога.  
Духу тропинка сквозь тьму в небеса.  
Око бессонное старого Бога —  
виснет на веках прозренья роса.

Слёзы утрёт ему дева Мария.  
Всхлипнет младенец. Склонятся волхвы.  
Матінко, мати, надія та мрія.  
Ржавая оторопь свежей травы.

### 100 дней

Ах, только б не было... но вот опять она,  
как вечный бой, и тишина не снится.  
Плачь, Дева. Ждать цветенья плакуна  
и воевать, как первый раз молиться,  
когда святее святости блудница.

Хіба ж можливо? Why бы not, мой друг?  
Всё может статься и не может статься.  
Усталый Бог застенчив, близорук,  
его берёт безбожник на испуг,  
как военрук с улыбкой святотатца.



и улетают ду́ши, бросив валяться телá.  
Море крови их смоеет, пыль обновит листву,  
и над землёй повиснут бедные два крыла —  
пóднятые ладони к мёртвому божеству.

Там в голубые волны ложится солнечный шар,  
шуршит в песочных часах времени мелкая вязь,  
к морю со спичками мчится лисичка разжечь пожар,  
Грей поднимает парус, мечтая и матерясь.

У греческих моряков фортуна значит волна.  
Вынесет или укроет саваном мокрым судьба?  
Эвксинский понт беспонтовая раскачивает война —  
хай їй шалаві щиро грець, проклін і ганьба.

\* \* \*

Из надежды наивной и странной  
XXI проклюнулся век.  
Птица Синяя. Гость незванный.  
Потерявший себя человек.

Снова ночь проворонила вóра.  
Хруст и стон в загребущей горсти.  
Los caríchos. Разгул термидора.  
Окровавленные травести.

Гроб поваленный храма без веры.  
Ангел смерти малюет бровь.  
На развалинах пляшут химеры,  
под развалинами — любовь.

Не отличить начало от конца,  
не снять с души тернового венца,  
слетают тени птицами с лица,  
земля краснеет, глядя на Творца.

\* \* \*

ночного метронома стуки  
и между пальцев шорох лет  
песка на коем  
какие суки говоря какие суки  
мы глядя будущему вслед  
домишко строим

не спрашивай чего мол ради  
плывёт по вечности реке  
вся эта лажа  
какие бляди говоря какие бляди  
свой тащишь крест невдалеке  
глумится стража

а за спиной внизу в долине  
дом над рекою на песке  
мерцают стёкла  
там огонёк горит в камине  
и мир висит на волоске  
как меч дамоклов

и крест ты тащишь или камень  
тащи дурак стучит в виске  
там твои дети  
тащи хотя сжигает пламень  
твой дом плывущий на песке  
в господни сети

\* \* \*

Иудиных дерев шумит багряный сад,  
как памятник душе любви и самосуду.  
Предательски любим, спасительно распят,  
благодарит Христос две тыщи лет Иуду.

А Вечному жиду метаться по земле  
и ждать, пока придёт Отвергнутый обратно,  
и о петле мечтать, когда навеселе,  
а с бодуна когда — считать на Солнце пятна.

В руке небес дрожат судьбы твоей весы,  
и ангел или чёрт — чей там в два пальца свист?  
Но ты тут ни при чём, для всех пушист и чист  
и прячешься в цветах нейтральной полосы.

И что тебе до тех, кто с двух сторон в гоньбе?  
Что Авеля душа? Что Каина печать?  
Но в миг, когда твой крик велит тебе молчать,  
две пули с двух сторон целуются в тебе.

\* \* \*

Оглянешься назад — мерцает полутьма  
Минувшего, и свет в конце тоннеля,  
где время сходит с утлого ума  
на берег Леты под жар-птичьи трели.

Там живы мать с отцом и бабушка жива.  
Там покати шаром, а больше и не надо.  
Там двор и на дворе трава, на ней дрова —  
с них виден мир, насколько хватит взгляда.

Там верится ещё, что в мире всё — добро,  
что зла на свете нет, а есть — его поборем.  
Там можно всё, что есть, поставить на зеро,  
покуда дури ZOV не обернулся горем.

Там свою глупость можно обнулить,  
чтоб прежде, чем она успеет накосячить,  
зажать меж пальцев Ариадны нить,  
распутницу в пути переиначить.

Там птица гамаюн падение сулит  
тем, у кого она повисла на пристреле,  
конец. Они стреляют, но летит  
за ними птица, как инфаркт в борделе.

Там тьма — как свет, и свет чернее тьмы,  
но море по колено замарахе,  
что Я куёт из никакого МЫ,  
бесстрашное в своём смертельном страхе.

\* \* \*

мир извивается в корчах перерожденья себя  
новые корчаки дымом несутся в утробу трубы  
с обещанным светом в конце себя на крестах губя  
под музыку розовых сказочек если бы да кабы

уходят твои ровесники ребята и старики  
и сам ты за ними скоро нелепый смешной старик  
слова твои им вдогонку растеряны и горьки  
себя позабывшего слова неуловимый блик

себя не сказавшей мысли глухонемая боль  
поющая безъязыкость вырванного языка  
силу свою потерявшая земная солёная соль  
бесстыдно открытая миру слепая дыра зрачка

ах если бы да кабы во рту бы росли бобы  
время текло бы вспять если оно течёт  
саженцами зеленели бы нынешние гробы  
но вместо расчёта на чудо на первый-второй расчёт

ветер гуляет за чéрепа сторожевой стеной  
озябшую лысину греет редкая седина  
первый твой хрупкий крик мир заглушал войной  
шёпот последний примет забывшая мир война

в год ты пешком под стол какой из тебя солдат  
в восемь десятков лет солдат из тебя никакой  
а в промежутке между сам чёрт тебе был не брат  
и ангел белее белого глядит на тебя с тоской

всё это было да сплыло море не глубже колен  
с треском которых сплетается прожитой жизни отлив  
или прилив вечности редьки не слаще хрен  
как ни верти кружку пенится в ней недолив

и никогда уже не возвратишься в страну  
оставив которую мира приبلудный сын  
куда бы ты ни пошёл а попадёшь в войну  
и мир как в творца мышеловке луны ноздреватый сыр

\* \* \*

мир от себя обалдевший снова играет в войнушку  
под кровь подставляет кружки силой чужой напиться  
и распевают похабную матерную частушку  
обозная блядь и удачи приبلудная синяя псица

нас зачинали надежды в мудрейшей своей дури  
мы выбирались на свет не дыша но в рубашке  
чтобы в порочного круга выморочной квадратуре  
вертеться пока не ударят колокола кондрашки

верили в светлое будущее правильные идиоты  
теперь о былом грустящие тихими дурачками  
пока обдирало с жизни слои жестяной позолоты  
и подгоняло время то ласкою то тычками

всё что любили было вроде заградотряда  
назад не отступишь значит вставай и иди в атаку  
от победившей жизни будет тебе награда  
дождём с того света однажды выпасть в свою итаку

гладить руки любимой детей обнимать и плакать  
с друзьями до слёз смеяться ополоснуть лица  
главное не напугать их не разводить слякоть  
в памяти раствориться в кошмарах ночных не сниться

\* \* \*

читал перечитывал не понимал  
не верить не мог и не верил  
как будто в рулетку с собою играл  
последний патрон в револьвере

а смыслы меж букв и слов как вода  
меж пальцев текли в никуда утекали  
и в рифму воде протекали года  
оскал улыбался в зеркальном лекале

где жизнь пролегла от войны до войны  
где мат с ветерком от державной шпаны  
где солнце не тускло и тьма не слепяща  
где рай в палаше где кто ищет обрящет

читал как впервые как на посошок  
с воюющим миром где вечность до міра  
где плачет непарной судьбы сапужок  
где право где лево где майна где вира

читал будто в детстве хлебнул самогон  
как взрослый когда лишь рукав для закуски  
и ты набираешь смертельный разгон  
в широкий тоннель только выходы ўзки

глотаешь страницы спеша дочитать  
но слов как ни мучайся не разобрать  
и книга открыта на первой странице  
в твоей пятерне или божьей деснице

**200 дней**

сквозь плач и стоны и рыдания  
мелькает вспышка светлячка  
на жизнь и смерть верша гаданье  
но это завтра а пока  
наигрывает сонно гаммы  
тень полусвета на стене  
в прошедшем времени когда мы  
ещё не знаем о войне  
когда уже не веря верим  
что нет войне и миру мир  
когда ещё не воет зверем  
ночной взбесившийся зефир  
и тень ложится на плечо и  
шепчась неслышно со свечою  
подрагивает тишина  
и света в тени преломленье  
и длится вечности мгновенье  
и не сгорает купина  
и на пороге ждёт война

\* \* \*

в трёх соснах ветер заплутал и стих  
устав от суеты неразберих  
и сон в тени как дух осенний хвоен  
ручей в лесу небесный лес в ручье  
и жизнь уже не жизнь а житие  
и ход времён неспешен и спокоен

в обнимку дýхи мира и войны  
досматривают пуганые сны  
самих себя во сне не узнавая  
вода живая мёртвая вода  
желанье загадай летит звезда  
туда где стонет третья мировая

где ум за разум на чумном пиру  
где раз за разом гаснет на ветру  
свеча в руках растерянного бога  
он всемогущ устал и одинок  
садится на порог и из-под ног  
уходит бесконечная дорога

и скрип вселенной на семи ветрах  
и терпкий хвойный привкус на губах

\* \* \*

Можешь шептать, кричать или молчать,  
застыть, окаменеть, рассыпаться на кусочки...  
Под утро с небес прилетает каинова печать  
по грецким орехам голов. Но это ещё цветочки.

Это ещё цветочки. Ягодкам свой черёд.  
Приторный запах смерти с птичьими косяками  
нетопырём полуденным по чёрному небу плывёт  
в поисках синей птицы, живущей за облаками.

В кровавой дымке заката встаёт зарёю восток.  
Тащат Рублёва на площадь. Летом орут колядки.  
Взламывает стотонность жизни хрупкий росток.  
В развалинах новых герник дети играют в прятки,

а кто не успеет спрятаться — лётчик не виноват,  
цели отмечены крестиком, что означает нолик,  
и догорает весёлый детского войска солдат,  
и плачет над ним тихонько недогоревший гномик.

## Женя Беркович

\* \* \*

Любите ли вы театр так, как его любят рыбы?  
В каждом театре их много:  
Огромные манты-глыбы,  
И окуни, и средних размеров карпы,  
И камбалы, плоские, как игральные карты,  
И смешливые тропические рыбёшки,  
И всякая мелочь, какую не дашь и кошке.

Все они совершенно неповторимы:  
Везде есть рыбы-массовка и рыбы-примы,  
Есть рыба-помреж, с зубастой, но доброй пастью,  
Есть жадная, хитрая рыба — зав. постановочной частью.  
И в каждом театре есть Начальник Пожарной  
Безопасности Пётр.  
Осётр.

В костюмерке есть рыба-ремень,  
В буфете есть рыба-капля...  
Обычно они выплывают после спектакля,  
Тянутся косяками откуда-то из подвала,  
Когда протрубит им раковина-зазывала,  
Когда в коридорах становится менее людно,  
Плывут и глядят на двуногих, покидающих это судно,  
Глядят, как распахивается сияющая утроба  
И стаи людей вытекают из гардероба.

А если некоторые остались лежать в подвале,  
То они не умерли: их рыбы к себе позвали.  
И там они все ныряют среди кораллов,  
Гораздо живее некоторых генералов.

Рыбы им улыбаются с каждой коралловой ветки,  
Вкусные водоросли им подают креветки.  
А сверху ходят заслуженные и народные.  
Холодные. Немые. Глубоководные.

\* \* \*

Я всю жизнь занимаюсь театром,  
И всё, что меня волнует, —  
Это проблемы театра.  
Вопросы его внутренней кухни,  
Особенности творческого устройства,  
Занятия голосом, речью, телом,  
Вместимость зала  
И прочие разные свойства  
Сцены,  
цехов,  
подвала  
И всей институции в целом.

Вот, например, если сделать в театре кухню,  
То сколько получится в день накормить народу?  
Ведь на всех не хватит шампанского  
И бутербродов  
С сыром.  
Допустим, женщина.  
Она поделится с сыном,  
С бабушкой и с соседкой,  
И с чьей-то голодной девочкой заодно.  
Нет, одного бутерброда на всех не хватит.  
К тому же,  
Удивительно,  
Но  
В этом буфете никто ни за что не платит.

А ещё я помню, как нам говорили:  
«В театре удобными могут быть только кресла,  
А всё, что на сцене,  
должно быть больным и колким,  
Непонятым инертной массе».  
И мне теперь интересно:  
Тех, кто не влезет в зале,  
Можно ли складывать, как реквизит, на полки?  
Можно ли вешать на плечики в костюмерке?  
Или в художке их склеивать, как коллажи?  
Или вообще зацепить за станки в танцевальном классе?  
Нет, там зеркала же,  
Это нельзя,  
Опасно.

А если на сцене всё должно быть больным и колким,  
Значит, нам нужен врач, медсестра, таблетки,  
Бинты, иголки.  
Но их тут нет,  
Ведь это театр, а не больница.  
Здесь нужно выйти,  
С достоинством поклониться,  
Не дождавшись конца оваций,  
Забрать цветы и уйти  
И по пути  
Домой  
Не забыть разгримироваться.  
Но если все лица здесь почему-то в белом,  
А тела у всех почему-то в противно-красном,  
То на всех не хватит салфеток, бинтов и ваты.  
И нет, гримёры тут, похоже, не виноваты.

Но если начать назавтра откапывать коридоры,  
То там обнаружатся сами они, гримёры.  
А если ещё принять своевременно меры,  
Из-под завалов выйдут радисты и костюмеры,

Артисты взбегут на сцену, реквизиторы встанут с полок,  
И девочка в зале вытащит из головы осколок,  
И бабушка рядом шикнет,  
Поправит свою камею,  
И театр начнётся с вешалки.

И не закончится ею.

\* \* \*

Здравствуйте.  
Извините, что к вам обращаюсь.  
Моя фамилия Лот.

Если коротко,  
у нас был ночной прилёт,  
и все побежали,  
ну и мы с супругой  
рванули из-под обстрела.  
Мы уже понимали,  
что главное — не смотреть назад,  
но вокруг нас был такой невозможный ад,  
что она,  
наверное,  
просто запутавшись,  
посмотрела.  
Мне самому нелегко поверить,  
что это моя жена,  
и я не про внешность,  
не про все эти чёртовы эталоны,  
хотя она у меня восхитительно сложена,  
и даже была моделью,  
не курила и не пила...  
Все меняются с возрастом,  
но всё же это была  
модель человека,  
а не колонны.  
Вы простите, что в личку,

я которую ночь без сна,  
и я знаю, что это, конечно, не та страна,  
чтоб просить о помощи,  
но прошу, подскажите какой-нибудь алгоритм,  
что мне делать,  
если моя жена...  
если, в общем, теперь она  
никуда,  
никуда  
не проходит по габаритам?  
Мы не просим много,  
она же как дерево,  
ей не нужна еда,  
и я обойдусь,  
подумаешь, не беда,  
что попишешь, такая у нас любовь.  
И мы можем вместе стоять  
смирно стоять  
молча стоять  
вечно стоять  
в любой отдалённой роще...

Просто в Европе  
всё очень строго насчёт столбов,  
А тут,  
как нам объяснили,  
пока попроще.

\* \* \*

А когда долбанули в Харькове  
По общаге для слабослышащих  
И Олег написал: «Херачило,  
Но проснулись одни коты».  
Я подумала: «Вот так новости».  
Ну а правда, красиво вышло же,  
Ну и образ для начинающих,  
Ну и слово из немоты.

А вчера было больно, кажется.  
Хоть чужая кровь, да всё мажется.  
Как-то рыпались, что-то делали,  
А сегодня молчок, молчок.  
А вчера выходили смелые,  
Поднимали плакаты белые,  
Говорили: «Всё скоро кончится».  
Вот и кончилось, дурачок.

Всё в полшёпота, на полшишечки,  
Всё зашаркано, всё беспомощно,  
Шито-крыто, шагай с закрытыми,  
Ситуация, друг, не та.  
Всё общага для слабослышащих,  
Всё общага для слабопомнящих.  
Не кричи, не ходи с убитыми.  
Не шуми. Не буди кота.

\* \* \*

То ли новостей перебрал,  
То ли вина в обед,  
Только ночью к Сергею пришёл его воевавший дед.  
Сел на икеевскую табуретку, спиной заслоняя двор  
За окном. «У меня, — говорит, — к тебе,  
Серёженька, разговор.

Не мог бы ты, дорогой мой, любимый внук,  
Никогда ничего не писать обо мне в фейсбук?  
Ни в каком контексте, ни с буквой зэт, ни без буквы зэт,  
Просто возьми и не делай этого, — просит дед. —  
Никаких побед моим именем,  
Вообще никаких побед».

«Также, — он продолжает, — я был бы рад,  
Если бы ты не носил меня на парад.  
Я прошу тебя очень, — и делает так рукой, —  
Мне не нужен полк,

Ни бессмертный, ни смертный, Серёженька, никакой.  
Отпусти меня на покой, Серёжа,  
Я заслужил покой.

Да, я знаю, что ты трудяга, умница, либерал,  
Ты всё это не выбирал.  
Но ведь я-то тоже не выбирал!  
Мы прожили жизнь,  
Тяжёлую, но одну.  
Можно мы больше не будем  
Иллюстрировать вам войну?  
Мы уже всё, ребята,  
Нас забрала земля.  
Можно вы как-то сами?  
Как-то уже с нуля?  
Не нужна нам ни ваша гордость,  
Ни ваш потаённый стыд.  
Я прошу тебя, сделай так,  
Чтоб я был наконец забыт».

«Но ведь я забуду, как в Русском музее  
Мы ловили девятый вал,  
Как я проснулся мокрый,  
А ты меня одевал,  
Как читали Пришвина,  
Как искали в атласе полюса,  
Как ты мне объяснял, почему на небе  
Такая белая полоса  
За любым самолётом,  
Как подарил мне  
Увеличительное стекло...»

«Ничего, — отвечает дед,  
Исчезая. —  
Тебе ведь и это не помогло».

\* \* \*

Возьми на себя боль здорового мужика:  
Понты до неба, яйца до потолка,  
Боль кандидата в охранники и сторожа,  
Звон от его разбитого гаража,  
Скрип от убитой мечты о «бэхе», пускай в кредит,  
Пропавшие письма от бати, который опять сидит,  
Эхо Египта полгода копил с трудом,  
Память о дне, когда пьяный пришёл в сгоревший теперь роддом  
(«Ты чё, никакого Яши, назовём пацана Олег»),  
Пиво, рыбалка, баба не человек  
(«Ты на одном поле с ним срать не сядешь наверняка»).

Так возьми боль токсичного  
патриархального мудака.

Снова кашляет, где бы добыть воды.  
Серый вон вышел на час — получил звезды.  
А похер, утром сбегая до реки.  
Как-то договоримся, всё-таки мужики.

Светка, хватай малого! Волонтёры берут с детьми.  
Сколько осталось рублей и гривен — возьми, возьми.  
На тебе майку с надписью «За Донбасс!».  
Русские не обидят, они за нас.

Возьми на себя боль  
здорового мужика.  
Возьми отбой  
последнего их звонка  
с самой границы:  
«Целуем...»  
Потом чернота, провал.  
Были бы живы,  
если бы не прогнал.  
Были бы живы  
они, а не я, не я.  
Были бы дальше вместе,  
семья, семья.

Возьми на себя этот —  
по самой машине —  
бабы да дети —  
ложись —  
прилёт.

А мёртвого пятилетку Бог без тебя возьмёт.

\* \* \*

Ой плакала Мария, ой плакала,  
Прикрывала рукой места:  
«А можно нам без чудес, без блага да  
Без креста?  
Да пусть бы вообще родилась девочка,  
Потом внуки пойдут, будет зять...»  
А ангел молчит и стоит, как дерево:  
Курьер, нерусский, что с него взять.

А он ведь живым рождается, не игрушечным,  
Что наш Ишенька, что чужой Кайсын.  
Каждый, кого вы сделали мясом пушечным,  
Был когда-то маленький, мягкий сын.  
И ничего подписывать я не буду вам,  
На учёт не встану, рожу в хлеву.  
Сами воюйте хоть в Косово, хоть под Чудовом,  
Моего не возьмёте, пока живу.

А ей говорят: «Не кричите, девушка,  
Всё без вас заранее решено.  
Начинайте завтра готовить побольше хлебужка,  
Воду отстаивайте на вино.  
Ничего вы здесь, мамочка, не поделаете:  
Будет время, Иуда выдаст, и Ирод съест».  
А бог, кстати, тоже всё время мечтал о девочке.  
Но он же папа,  
Куда свою булочку,  
да на крест.

Михаил Шлейхер

## «Цветы опять свежи и новы, и роща дивно зелена...»

Ему приснились голоса. Это были женские голоса. Они смеялись и разговаривали. Он проснулся, весь в радостном предчувствии, и в момент просыпания понял, что голоса принадлежат его жене и десятилетней дочери и что те вдвоём готовят блины на кухне, хлопают дверцей холодильника и звенят ложками и тарелками, как будто связкой колокольчиков.

Он успел одновременно удивиться тому, что они так рано встали, — ведь по выходным он обычно вставал раньше всех, — и обрадоваться сладким блинам и солнечному воскресенью.

Он лежал с закрытыми глазами и ещё несколько секунд с улыбкой слушал голоса, доносившиеся из кухни, а потом вдруг осознал, что они медленно растаяли вместе со сном, что голосов там нет и уже давным-давно быть не может, что сегодня не воскресенье и что вообще ещё не утро, а глубокая ночь между вторником и средой.

И тогда его сердце снова ухнуло вниз, провалилось внутрь себя, а на его месте чёрным вихрем выросла гудящая труба, засасывающая его в темноту, отчего снова хотелось кричать в подушку и одновременно скулить, как порванной собаке.

Карл откинул одеяло и быстро сел, прижимая правую руку к груди и пытаясь дышать. Он знал, что заснуть больше не получится, а отвлечься можно только одним способом. Он включил лампу (лампа мигнула и перенесла Карла из чужого, теневого мира в мир обычных теней), взял с тумбочки томик Шелли в переводе на русский и открыл наугад:

Пусть отошли в былое страсти —  
Ещё куда в нашей власти  
Их след в сознание сохранять...

Карл захлопнул книгу, зажмурил глаза и прижал томик ко лбу. Холодная обложка липла к коже и пахла итальянским пляжем. «Почему снова на том же месте? — подумал Карл. — Почему она всё время открывается на том же самом месте?!»

Он глубоко вдохнул, выдохнул и стал пытаться думать о работе.

— Зачем он оставляет рядом с жертвами томик Шелли? — произнёс Карл вслух, всё так же прижимая книжку ко лбу. Снова вдохнул и продолжил уже про себя: — Почему не Томаса Манна или какого-нибудь Гёте? Самого Шелли нашла утонувшим и с книжками стихов в карманах пальто — с этим всё ясно. Но для чего убийце эта карусель со стихами? И зачем ему дался именно этот Шелли, которого и знать-то никто не знает? А главное, зачем мне думать обо всём этом, когда мои мысли заняты совсем другим? Почему только я должен вечно придумывать версии? Почему не Кристиан? Или не этот новенький из Любека, герр Тамм?

Задавая себе все эти вопросы, Карл не заметил, как вернул книгу на тумбочку, встал, почистил зубы и сварил кофе, душистый, как ночь в Тоскане, и чёрный, как последний отпуск на Адриатике. Его мысли о работе были похожи на хлебные крошки, рассыпанные по Александерплац. Они быстро исчезали, склёвываемые воробьями, а под ними лежали крепкие булжники настоящих вопросов. Тех мыслей и идей, которые, по его мнению, должны были принести спасение. Вне зависимости от того, сколько крошек бросали сидящие на лавочках люди, булжники Александерплац никогда не пропадали из видимости.

Чтобы разобраться в этих вопросах, Карл часто представлял, что пересказывает кому-нибудь содержимое прочитанных книг. Как будто он сидит в баре, держит ладонь на холодном стекле пивной кружки и объясняет другу, сидящему напротив, весь этот мир. И мир становится ближе и понятнее.

Представь себе бесконечную во все стороны, пустую и тёмную комнату, в которой кто-то включил фонарик и осветил вдаль. Что мы увидим? Увидим ли мы что-нибудь? Того, кто держит фонарик? Сам фонарик? Луч света в темноте? Казалось

бы, мы должны увидеть как минимум этот самый луч. Но нет, в действительности, если задуманная комната будет достаточно стерильной и в воздухе не будет пыли, то свету не от чего будет отразиться, и темнота останется такой же беспросветной. Мы не увидим свет, пока он не будет направлен прямо в наши глаза. Как это ни парадоксально, свет невидим. И невидимость — это, как ни странно, ещё наиболее понятное его свойство.

Карл подошёл к машине, стоявшей у открытого, пропахшего вчерашней жарой гаража, забрался внутрь, завёл мотор и включил фары, осветив лес, за которым проходили железно-дорожные пути. Между ближайшими, выступавшими из леса стволами были видны другие стволы, между ними — третьи и так далее. В это время суток вряд ли можно было с уверенностью утверждать, что за перелеском действительно находится железная дорога. С таким же успехом там могло быть озеро или край земли. Карл пощёлкал фарами, то пряча лес во тьму, то снова возвращая его к жизни, каждый раз надеясь, что вместо леса там появится что-нибудь другое. Всё равно, что именно. Просто другое. Но другое не появлялось, поэтому Карл оставил эту игру и медленно поехал по пустой улице своей деревни, висевшей в ночной пустоте на краю огромного Берлина.

Он любил это время суток, когда тебя ещё нигде не ждут и можно не спеша ехать на работу и думать о своём. Когда мысли в голове текут и переплетаются между собой по своей прихоти, и ты думаешь одновременно и о прочитанных научно-популярных книжках, и о собственном прошлом. И может быть, немного о будущем тоже.

Физик-теоретик Ричард Фейнман говорил, что всю квантовую механику можно получить из одного только тщательного обдумывания последствий эксперимента со щелями, который в истории физики проделывался тысячи раз и всегда давал одни и те же, до боли странные, результаты.

Возьмём кусочек непрозрачной фольги и проделаем в нём две тонкие щели на расстоянии в одну пятую миллиметра друг от друга. За фольгой поставим экран и посветим на щели лазером. Если бы свет распространялся прямолинейно, как это, казалось бы, и должно быть в случае со светом лазера, мы бы

увидели на экране две яркие полосы, расположенные на расстоянии в одну пятую миллиметра друг от друга. Но на деле мы получаем множество ярких и тёмных полос без резких границ. Это явление в физике называется интерференцией.

Карл посмотрел на мигнувшее табло — четыре утра. Двенадцать часов назад по пути из здания полиции к парковке он увидел спешащих к трамвайной остановке женщину и девочку. Обе они снова были ужасно похожи на его жену и дочь. Те же причёски и черты лица. Даже летний джинсовый комбинезон на девочке — точно такой, как они купили тем летом в Италии.

Его жена Нина, ещё живя в России, где он с ней познакомился, изучала английскую литературу и продолжила это дело после переезда в Германию и рождения дочери. В то последнее лето на Адриатике она дописывала докторскую по британскому романтизму. Блейк, Байрон, Шелли — всё то, что двести лет назад вызывало бури эмоций и, видимо, двигало человечество куда-то вперёд, а в наши дни уже практически бесследно растворилось в культурном пространстве. Кроме литературоведов, почти никто сейчас не помнит не только стихов, но и имён этих древних поэтов. А Нина помнила. И хотела, чтобы их помнил Карл. Бог знает, зачем. Карлу даже в юности не нравились стихи. Если на то пошло, то, скорее, проза. Детективы, с которых когда-то началась его любовь к будущей профессии. Но Нина могла в любое время дня и ночи положить перед ним томик Байрона или Шелли в переводе на русский, и он вынужден был читать вслух английских классиков, со скрипом вспоминая школьные уроки русского языка. Карлу казался нелепым этот парадокс, он нервничал, но читал, хотя мысленно и проклинал русских, которые свой собственный язык любили явно больше чужих, даже когда делали вид, будто изучают британский романтизм.

Особенно сильно это стало нервировать его в отпуске в Италии, где они ездили по местам чужой славы от Тосканы до побережья, — в городе, где снимал виллу Байрон, у бухты, в которой выловили тело утонувшего Шелли... На Карла то и дело накатывали волны глупой, непонятной ему самому, агрессии. Видимо, сказывались двадцать лет работы в криминальной полиции. А может быть, десять лет брака. Его коллега Кристиан

путил, что и то, и другое — равнозначно. Во время приступов Карл до хруста сжимал зубы и шёл гулять по оливковой роще рядом с морским берегом, где они снимали домик. Но даже в такие моменты он продолжал любить эту русскую женщину, которая родила ему русского ребёнка. И которая сама была похожа на ребёнка, когда вместе с дочкой они бежали по узким улицам древнего итальянского города, звенящего эхом их лёгких шагов на все стороны света. Это было как продолжение юности, исчезнувшее сразу после их смерти. После их смерти Карл вдруг остался один в мире, который очень напоминал тот, что окружал его прежде, но был значительно более тусклым и чужим. И в этом уже не было парадокса.

Если в кусочке фольги между двумя имеющимися щелями мы прорежем две дополнительные, то картина меняется. Казалось бы, мы добавили света, значит, на экране позади фольги его тоже должно стать больше. Но этого мы не увидим. Внезапно рисунок от четырёх щелей представляет собой не комбинацию смещённых рисунков двух пар щелей, а имеет совершенно иную структуру. При появлении двух дополнительных отверстий, пропускающих свет, на экране появляются неосвещаемые участки, которые были освещены до этого. Таким образом, появление двух дополнительных источников света затемняет часть экрана.

Это значит лишь одно. В четырёхщелевом эксперименте через вторую пару щелей проходит что-то, препятствующее попаданию света из первой пары щелей на определённые участки экрана. То, что создаёт помехи, очевидно, находится в самом луче света. И это нечто ведёт себя так же, как сам свет. Оно всегда присутствует в луче света, оно отражается вместе со светом и останавливается тем, что останавливает свет. Но что это? Быть может, это и есть сам свет?

Вчера, когда Карл заметил женщину и девочку, ему снова стало не по себе. Снова это чувство размытой реальности. Казалось, стоит протянуть руку, и рука коснётся звонкой стенки, разделяющей миры. И тогда эта незнакомая женщина, продолжая держать за руку девочку, обернётся и окажется Ниной.

Карл увидел, как они опоздали на трамвай, а потом пошли пешком вдоль по улице. Солнечный свет лился на них с неба,

светлые, будто бы действительно славянские, косы обрамляли их головы, которые двумя спутниками плыли параллельно поверхности земного шара, и Карлу показалось, что в такую жару единственной возможностью спасти женщину и девочку от солнечного удара было укрыть их в прохладе его автомобиля. Его сердце внезапно запнулось и заныло от прилива нежности к этим двум незнакомым людям. Карл вспомнил, что в тот момент ему в голову пришла важная, хотя и не до конца понятная мысль. У мира есть две стороны, одна сторона — жизнь, другая сторона — вечная жизнь, подумал он. После чего догнал женщину и девочку, представился, показав им полицейское удостоверение, и предложил подвезти.

Один твой взгляд, одно движенье  
Едва поймав, воображенье  
Мир воссоздаст в одно мгновенье...

Чтобы избавиться от гипотетической возможности взаимодействия фотонов друг с другом, физики провели тот же эксперимент, но на этот раз выстреливая в щели одиночными фотонами, которые по определению являются неделимыми частицами. Однако картина не изменилась. Ни один из летящих фотонов, пролетев сквозь одну из щелей, не попал в участки экрана прямо напротив этих щелей, как будто по дороге он сталкивался с чем-то ещё, летящим вместе с ним, и попадал в экран, отклоняясь от своей изначальной траектории. Но поставив у всех щелей датчики, физики ни разу не смогли зафиксировать проход фотона одновременно через две щели. Таким образом удалось выяснить: то, что находится в луче света и проходит через щели одновременно с фотонами, невозможно поймать и зарегистрировать. И единственное, что можно предположить, пытаясь понять, что здесь вообще происходит, это то, что вместе с обычными фотонами сквозь все четыре прорези к экрану летят так называемые теньевые фотоны, которые можно обнаружить лишь косвенно, только через их воздействие на реальные фотоны, приводящее к интерференции.

Карл припарковался у здания криминальной полиции и долго сидел в машине, глядя, как неспешно светлеет небо. Потом он достал из бардачка томик стихов Шелли и сорвал с него целлофановую обёртку. Те же стихи, но на немецком языке. На русском их было не достать. Карл посидел ещё четверть часа, раз за разом открывая книгу наугад и поглаживая новенькие страницы, затем вылез из машины и поднялся в офис. Здесь было проще думать о работе. Он ходил между столами, похлопывая себя книгой по бедру, и размышлял.

Что нам известно?

Есть серия убийств. Не просто похожих, а идентичных. Всегда по две жертвы. Всегда со следами наручников на руках. Да, у воды. Благо озер в Берлине полно. Но умерли они явно не там. Преступник садится жертве на грудь, зажимает ей нос и льёт в горло воду, пока та не напивается до смерти. Это нам известно? Пожалуй, известно. Волосы и одежда сухие. До этого додумался герр Тамм. Он вообще наблюдательный. В Любеке за ним — десятки раскрытых дел. Но он не думает дальше своего носа. Говорит, что не любит делать поспешных выводов. Может быть, и не лукавит. Но рабочие версии приходится придумывать Карлу. Почему каждый раз томики со стихами Шелли? Преступник любит поэзию? Маньяк, сбрендивший на романтизме? Но что из этого следует? Какие выводы представить на сегодняшней планёрке? Как найти единственно верную тропинку в расследовании, по которой можно с лёгким сердцем пустить на поиски весь отдел?

Карл вдруг подумал, как было бы прекрасно, если бы он мог рассказать всем этим людям о своём горе, о том, чем действительно заняты его мысли. Они не смогли бы ему помочь, но могли хотя бы послушать. Понять, что он ищет вот уже два года. Что или кого. Или и то, и другое. Щёлку в пространстве, через которую можно добраться до жены и дочери. Они где-то рядом. За перелеском на краю Берлина, за углом продуктового магазина, за взмахом чьей-то руки на улице. Но не достать, не услышать их голоса, не прижаться щекой к волосам. Это как дом на другой стороне реки, как звезда на другой стороне времени, как жизнь на другом берегу смерти.

Наш современник, британский физик Дэвид Дойч считал, что теневого фотона, вылетающего с пучком света, должно быть значительно больше реальных. Причём «значительно» — значит здесь действительно «очень много». По его расчётам, на один видимый фотон их должно приходиться от одного триллиона до бесконечности. А дальше начинается самое интересное.

Теневые фотоны проходят сквозь щели вместе с реальными фотонами и меняют траекторию последних. Но если мы оставляем открытой лишь одну щель, то интерференция прекращается. А это значит, что кусочек фольги останавливает теневые фотоны точно так же, как он останавливает фотоны реальные. Как такое может быть? Если бы на этот вполне реальный кусочек фольги воздействовало такое огромное количество фотонов, от фольги тут же ничего бы не осталось. В действительности же они не оказывают на неё никакого влияния. Тем не менее теневые фотоны останавливаются. И из этого следует лишь один, совершенно неизбежный и жуткий вывод — в месте существования реального кусочка фольги существует и теневая. Теневая преграда, состоящая из теневых атомов и останавливающая теневые фотоны, испускаемые теневым лазером.

В офис вошёл Кристиан. Он мрачно поздоровался и прошёл к своему столу. Тут же сел, поставил рядом с клавиатурой кофе из автомата и вперился глазами в монитор. В последнее время он тоже был странный, не такой, как раньше. Раньше он был лучшим другом Карла, а теперь явно стал его сторониться. Раньше по пятницам они после работы сидели в баре напротив. Но в какой-то момент это прекратилось. У Карла появилось стойкое ощущение, что Кристиана подменили, что это был уже другой Кристиан, внешне похожий на настоящего, но другой. Когда точно это случилось, Карл мог только догадываться. То ли несколько месяцев назад, то ли после того, как к ним зачем-то перевёлся этот новенький из Любека. А может быть, это произошло сразу после смерти жены и дочери Карла. Впрочем, если принять во внимание, что в тот день другим стал весь мир, то всё вставало на свои места. Пожалуй, это было самым страшным. И в то же время именно это давало Карлу надежду.

Чтобы не смущать Кристиана, он тоже сел за свой стол и положил перед собой книгу. Надежда, думал он, — это единственное, что мне осталось. Плюс, возможно, умение запоминать мельчайшие детали.

Так как по расчётам Дойча темновых фотонов должно быть в триллионы раз больше реальных, то и на один реальный кусочек фольги со щелями приходится триллионы темновых кусочков. Точно так же одновременно существуют триллионы лазеров, выпускающих фотоны, триллионы физиков с нелепой фамилией Дойч, экспериментирующих с этими фотонами, и триллионы датчиков, регистрирующих фотоны у щелей. Триллионы параллельных миров, находящихся как бы друг в друге, но взаимодействующих друг с другом лишь посредством рисунка интерференции на экране. Но самое интересное даже не в этом. Ведь что нам с триллионов миров, полностью идентичных нашему? От них нам ни холодно, ни жарко. Пока мы вдруг не вспоминаем, что в разных мирах датчики регистрируют пролетающий фотон у разных щелей.

А это значит, что параллельные миры отличаются друг от друга. Самые близкие к нам различаются только номером щели, через которую пролетает фотон. В тех, что отодвинуты от нас дальше, другой номер щели повлёт за собой более сложные изменения (вместо «ах!» Дойч вскрикнул «ох!»). А в том мире, который отстоит от нашего ещё дальше, Дойч не только вскрикнул «ох!», но ещё и выругался, а его лаборант, услышав это, пролил на себя кислоту и попал в больницу.

— Доброго вам утра, Карл.

Карл дёрнулся и увидел стоящего рядом герра Тамма.

— С добрым утром, — сказал Карл треснувшим от неожиданности голосом и убрал книгу в ящик стола.

— Карл, я хотел бы с вами посоветоваться перед планёркой. Уделите мне пару минут?

— Разумеется! — Карл улыбнулся.

— Вот это наше дело с серийными убийствами. Мы сегодня ещё поговорим об этом, но я хотел бы до общего сбора узнать ваше мнение. Я понял интересную вещь, которая, возможно, нам поможет. Давно уже понял, но теперь решил её, так

сказать, вынести на суд. Может быть, это глупость, конечно. Но мне кажется, что убийца не сразу убивает своих жертв. Он делает это в несколько приёмов. Сначала они захлебываются, потом он их откачивает. А потом снова заливает воду в рот. И снова откачивает. Делает искусственное дыхание. И так много раз.

— Это действительно странно. Почему вы так решили?

— Я долго не мог понять, в чём дело. Почему у большинства убитых мы находим по одному-два сломанных или треснутых ребра? А потом я вспомнил, что такое случается во время непрямого массажа сердца. Особенно часто это происходит, когда массаж сердца делают ребёнку.

— Даже не знаю, что на это сказать. — Карл откинулся в кресле. — Зачем ему это нужно?

— Я понятия не имею. Но могу предположить, что он растягивает удовольствие.

— Это вряд ли, — твёрдо сказал Карл.

— Соглашусь, мы действительно ещё слишком мало знаем.

Карл подумал.

— Скорее всего, убийца наносит удары жертвам, в том числе и в область грудной клетки. Я бы исходил из этого.

— Вполне возможно, — ответил герр Тамм. — Пока я спорить не буду. Кстати, вы уже знаете, что со вчерашнего вечера снова разыскиваются два человека? Конечно, ещё ничего нельзя сказать наверняка, но типаж, как у нас. Женщина и малолетняя дочь. Муж подал заявление, а нам тут же передали. Потому что уж очень похоже. К тому же, в нашем районе. Можно сказать, у нас под носом.

Карл махнул рукой и улыбнулся.

— Герр Тамм, но тут вообще ещё слишком рано о чём-то говорить. Я думаю, они уже сидят вместе дома и пьют чай. Берлин — это не Любек. Здесь каждый день пропадают люди. И на следующее утро чаще всего находят.

— Будем надеяться, будем надеяться, — проворковал герр Тамм и пошёл было к своему столу, но тут же вернулся. — Кстати, интересная деталь! Пропавшая женщина родом из России, её зовут Нина Шнайдер. Карл, извините, если что. Но

мне кажется, ваша жена тоже была русская и её тоже звали Нина. Или я ошибаюсь?

Карл побледнел.

— Это правда, — сказал он. — Но при чём тут моя жена?

— Карл, бога ради простите. Я задаю слишком личные вопросы. К нашему делу это уже не имеет никакого отношения. Но мне кажется, это важно именно вам. Вам в первую очередь, да. Я вижу: вы здесь ни с кем об этом не говорите. Почему? Что с ней случилось?

Карл сглотнул, уже не в силах сдерживать тревогу, и ответил:

— Она утонула.

Герр Тамм помолчал, потом вдруг положил ладонь ему на плечо:

— Держитесь, мой друг. Всё будет хорошо.

В горле набух твёрдый комок, который нельзя было проглотить, а глаза защищало, как в детстве. Карл отвернулся от герра Тамма и увидел Кристиана. Тот хмуро смотрел на него со своего места, и что-то в этом взгляде Карлу не нравилось. Тогда он глубоко вздохнул и сказал:

— Спасибо. Я пойду выпью кофе.

Карл взял со стола кружку и вышел в коридор.

Из кармана пиджака выловил монетку и бросил в щель автомата.

Экспериментируя с частицами и щелями, физики со временем поняли, что любое измерение летящей частицы убивает интерференцию. Как только в дело вступает наблюдатель, частицы перестают вести себя как волна и становятся объектами в полном понимании этого слова. Даже если мы ставим датчик лишь у одной щели и не фиксируем частицу, потому что она пролетает через другую щель, то на экране она попадает именно туда, куда и должна была попасть, — прямо напротив той щели, через которую она пролетела. Это и есть настоящая квантовая запутанность, при которой запутываются уже не две частицы, а частица и наблюдатель, измеряющий её местоположение. Фиксация в реальном мире одной из триллиона теневого частиц и есть та грань, отделяющая миры друг от друга. В одном мире

наблюдатель случайным образом запутался с одной частицей, а в соседнем — с другой, разделившись при этом на двух разных наблюдателей внутри бесконечного мультиверса.

Не всем дано это представить и тем более принять. Но ясно одно: два года назад Карл совершил ошибку, погнался за фальшивым солнечным зайчиком и случайно запутался с неправильным фотоном из чужого мира. После чего обнаружил себя на пляже, где перед ним лежали мёртвые тела жены и дочери. Это было противоестественно, этого не должно было быть, но это было. Как сон, из которого Карл не мог проснуться, сколько бы не кричал в подушку.

Спустя вечность, проведённую в мучениях, Карл случайно открыл для себя теоретическую физику и понял, что возможность вернуться в его правильный, прежний мир всё-таки осталась. Оказывается, эта возможность всегда находилась рядом с ним, как стенки прозрачного сосуда, в котором он был пойман. Для того чтобы оказаться по другую сторону стекла, нужно было всего лишь восстановить ситуацию, воспроизвести время года, разложить предметы и людей в правильном порядке, нанести на кожу морскую соль, распылить в воздухе вкус летнего полудня.

На диком пляже в тот день было ветрено и безлюдно. Когда Карл взял на руки тело Нины и пошёл к автомобилю, из кармана её летнего плаща на песок выпал томик стихов Шелли и раскрылся на том самом стихотворении.

Монетка провалилась в щель, и в дно кружки ударились струйка чёрной жидкости. Запахло Италией. Карл вернулся в офис, поставил полную кружку на стол, достал из ящика книгу и вышел. Он спустился на улицу, сел в машину и поехал в сторону Лихтенберга. Подъехав к территории законсервированного спорткомплекса времён ГДР, он оставил машину на пустыре и через выломанную дверь проник внутрь. Там он спустился в подвал и, отодвинув засов на двери котельной, вошёл.

На противоположной входу стене были наклеены фотообои с видом на морской пляж. Пахло распыленной в воздухе морской солью. Они лежали на полу, прикованные к трубам. Карл положил томик Шелли рядом с женщиной, взял её за плечи и, задыхаясь от быстрой ходьбы, стал спрашивать по-русски:

— Тебя зовут Нина? Это правда? Ты меня слышишь? Твоё имя — Нина?

Женщина смотрела на него красными глазами, мотала головой и не понимала. Девочка у другой трубы зарыдала. Тогда он спросил женщину по-немецки:

— Как тебя зовут?

— Николь, — ответила та. — Пожалуйста, отпустите нас!

— Николь, — повторил Карл, медленно встал и пошёл к канистре.

Отвинтил крышку, налил воды в голубую лейку. Взял лейку и вернулся к ним. Теперь они рыдали обе.

— Вы всё поймёте, — сказал Карл. — Вы всё скоро поймёте. Просто нужно ещё немножко потерпеть.

Он опустился на колени и взял женщину за подбородок, с силой сжимая ей щёки, чтобы расцепились зубы. Он не услышал, как дверь позади него открылась. Только когда два оперативника из спецкоманды почти подняли его в воздух, а потом ударили лицом о стену и вывернули руки, ему стало ясно, что всё кончилось. А когда откуда-то сзади подошёл герр Тамм, Карл понял, что тот его надул, надул как маленького, чтобы Карл потерял контроль над собой и сделал ошибку.

— Вы подозреваете в четырёх двойных убийствах, мой друг. — Герр Тамм говорил негромко и глядя в сторону. — В том числе жены и дочери.

— Это неправда! — Карл пытался через плечо заглянуть в глаза герра Тамма, но тот отводил взгляд. — Это не я!

Герр Тамм пожал плечами. Он смотрел, как один из оперативников освобождает женщину. Второй оперативник вдавливал Карла в стену.

На левой руке щёлкнули наручники.

Карл вдруг почувствовал запах оливковой рощи на берегу моря, до хруста сжал зубы и понял, что это его последний шанс. Что всё должно случиться прямо сейчас и что прямо сейчас всё обязательно получится.

Только так и уже никак иначе.

Он выдернул правую руку, изогнувшись, выхватил из кобуры оперативника пистолет, развернулся и выстрелил ему в

живот, тут же выстрелил в колено герру Тамму и с поднятым пистолетом шагнул к другому оперативнику и к лежащей женщине. Одновременно с этим он услышал ещё три оглушающих выстрела и почувствовал гарь на языке, которую хотелось сплюнуть, но язык не слушался.

Он успел взглянуть назад: у двери, направив на него пистолет, стоял Кристиан.

Помещение котельной сломалось и расслоилось, как отражения в зеркальном лабиринте в парке аттракционов. Карл стал куда-то падать и наконец услышал — совсем близко зазвенели колокольчики их голосов. Они смеялись и читали хором:

Смотри, упали сна оковы,  
Цветы опять свежи и новы,  
И роцца дивно зелена...

## Анастасия Юркевич

## СТИХИ К G.F.

\* \* \*

Еле слышный звук, возникший неведь откуда,  
Легче спящей бабочки, невесомее обертона,  
Тихого стога птицы под спудом шторма —  
Предвосхищенье чуда.

Еле слышный звук (умолкнуть гораздо проще,  
Чем окрепнуть; иссякнуть, не воскресая,  
Проще), как июльский ливень, взрывает собою рощу,  
И она встаёт навстречу ему, босая,  
Каждый лист отдавая, развёртывая, разверзая.

\* \* \*

Не прикоснёшься ко мне рукой,  
Не подойдёшь в метро,  
Сам не следуешь своим советам.

Вот и имеем — ни то ни сё, ни сё ни это:  
Моё дыхание — на твоей щеке,  
But I've got the wrong ear.

Всяк сверчок при своей тоске.  
И пока Фома-volunteer  
Кладёт руку в *ego* нутро,  
Мы-то с тобой — у Христа за пазухой:

У меня — мой покой,  
У тебя — твой покой.  
Ничего впереди,  
Аж ветер свистит в груди.

\* \* \*

Робин Бобин Барабек,  
Чисто asking — are you back?  
На столе дымит овсянка на сто тысяч человек.

Are you back from London town  
To our loveless common ground?  
Возвращайтесь — здесь ноябрь, по полупечке за round.

Где, позвольте, ваша рать?  
Потрудитесь-ка собрать:  
На Маланьину на свадьбу здесь нажарили опять.

Возвращайтесь — и за стол.  
Do you love me? — Not at all.  
Вот вам вилка, вот вам ложка. Заходите, кто пришёл.

Вот вам вилка, вот вам ложка.  
Больно мне совсем немножко.  
Ешь, голубчик, не любя.  
А иначе съем — тебя.

\* \* \*

так и будем с тобою аля-улю,  
то я-тебя-не-любю, то ты-меня-не-люблю.  
ни того скажи, ни туда смотри,  
говори, что положено, говори  
круглые, обкатанные слова,  
жуй, глотай, виду не подава,  
из-за столика не встава.

провожая взглядом руку, не до конца  
провожай — там то, чего нам нельзя,  
там любая пешка сожрёт твоего ферзя —  
так там близко до твоего лица;  
там меняется температура тел:  
всё, как ты хотел.  
— всё, как я хотел?

карильон вдалеке забряцает ни по ком.  
удивительно (no worries, я заплачу),  
что чем больше, прости господи, я тебя хочу,  
тем верней ты становишься мне врагом.

2016 — 2020

\* \* \*

Всю ночь по крыше базельского дома  
струился дождь и лишь к утру затих.  
Скользя и спотыкаясь поминутно  
и смачно поминая всех святых,  
ему доселе косвенно знакомых,  
посыльный не сдавался. Было мутно

и пасмурно. Услышав стук в окно,  
Эразм, давно не получавший писем,  
сначала удивился, но спустя  
мгновение, рассеянно следя  
зигзаги ласточек в почти бездонной выси,  
вдруг понял, что он ждал его давно.

Он вскрыл печать, присев за край стола  
чуть-чуть неловко, в непривычном месте  
(так и не встретились, и все же нынче — вместе),  
и время вдруг сместилось и пошло  
насквозь — сквозь день, сквозь прыгавшие строки,  
исписанные страстно и темно,  
сметая все условности и сроки  
столь яростно, что лишь когда зола  
в печи остыла и понадобились свечи,  
и дождь стегнул в оконное стекло,  
он ощутил, что наступает вечер,  
и, ощутив, подумал: «Мудрено».

«О фанатизм, уродец несуразный  
от блуда разума с извечной жаждой крови!  
Когда б твоей ухмылочке фартовой  
не узнавал бы я в его глазах;  
когда бы не безумья блеск лиловый,  
когда б не всё так безнадежно ясно, —  
кто знает? — я б, возможно, больше „за“  
найти старался, сердцем понимая,  
что с ним мы оба два острейших края  
от лезвия — единого...»

Привычно кутаясь в потёртый мех,  
он сел, взглянул в окно: в окне темнело.  
В конце концов, ну что ему за дело  
(здесь холодно, он стар) до них до всех?  
До Luder Sohn с его недоброй страстью,  
столь искренней, но столь недальновидной,  
до этих толп, уже столь очевидно  
лизнувших крови и у ней во власти:

Sie werden morden. Красное вино  
согрело чуть. Однако ж как давно,  
подумал он, рассеянно вертя  
перо в слегка окоченевших пальцах,  
никто не навещал его. Хотя  
кому бы и зачем? Один, страдалец,  
лишился головы, и это в смысле  
вполне непереносном, предпочтя  
сей голове нетронутую совесть,  
а в голове — нетронутые мысли.  
Мир сильно опустел с тех пор, хотя  
В наш век не бог-то вещь какая повесть.  
Другой — ...

Он тихо встал. Прикрыл окно.  
Свеча, чуть вздрогнув, распрямила пламя.  
«...Мой друг, когда б Вам было суждено  
понять, что мне и Вам Он равно значил.

Нас двое. Он сейчас, возможно, с нами.  
Но всё, боюсь, давно предрешиено:  
Я обречён бездействовать, а Вы...  
Вы — действовать под стягами толпы,  
а значит, Вы обречены тем паче».

Стемнело. Дрозд умолкнул. Тополя  
чернели, упершись штыками в небо.  
Сойти на нет, как будто бы и не был.  
Уйти. И без него Земля  
вертеться будет: может, даже лучше.  
«Я оставляю Вам арену, бурше...»  
Пора. Пора. Он дал себе зарок.  
Уже не видя сам последних строк,  
он выводил уверенной рукою:  
«...Храни Вас Бог на этом поле боя.  
В Европе, что ни час, то всё темнее,  
и вряд ли утро ночи мудренее».

Алёна Тайх  
(5 июня 1969 — 2 марта 2022)

\* \* \*

Растрёпаны волосы ветром и детством.  
Ещё забавляясь кокетством с судьбой,  
Начнёшь дорожить неприметным соседством  
С каштаном и облаком. Станешь седьмой  
Водой, их запомнившей, лужицей мелкой  
На том киселе, что варили гурьбой,  
А выпить забыли. Цепляясь за стрелки —  
По кругу... Уж не до кокетства с судьбой.  
Твой путь ещё свёрнут, закручены метры  
В тугую рулетку, и правит азарт.  
Растрёпаны волосы ласковым ветром,  
Но детство отхлынуло тяжело назад.  
Ты начат, намечен.  
Ты штрих карандашный.  
Смотри в свою даль и слезинку смигни.  
Растрёпаны волосы... Это нестрашно.  
Страшнее, что так перепутаны дни.  
Не вспомнить, не встретиться,  
не наглядеться.  
Чужие ли сны в темноте стерегут?  
И всё вспоминаешь счастливое детство,  
Которого не было, тащишь на суд  
Родных. Но и это тебе не поможет,  
Никто не придёт, не расскажет о том,  
Что в небе пустынном, в сиянье тревожном  
Каштану и облаку верен твой дом.

\* \* \*

Зачем уезжать в города, где никто не ждёт?  
Покуда растёт борода и дождь идёт,  
Подумай легко о том, как мил диван,  
Сколь лучше потрепанный том  
Далёких стран.

Зачем попивать вино, что не веселит,  
Не всё ли тебе равно, что жизнь сулит?  
Она идёт стороной... Ну не сезон!  
Что делать нам с ней, родной?  
Прав Аронзон...

Нет, он, безусловно, прав — она мила,  
Хотя ни любви, ни прав нам не дала,  
Но мы проживём без них, тоску любя,  
Лепя из заблудших книг — таких — себя.

Зачем уезжать в города, где нету нас?  
Зачем попивать вино, раз забвенья нет?  
Зачем Аронзона читать, зная, что потом...

### **Моё еврейство**

Живи в сторонке валко или шатко,  
Жалей прохожих, вспоминай ha-брит...  
Но тяжела и не по Сеньке шапка,  
И потому, наверное, горит,  
Не обжигая. Только дым до неба.  
Придётся врать, что это мусор жгут,  
И пить ежевечернее плацебо,  
Чтобы не так в виски впивался жгут,  
И мысли гнать о том, кто сон наваял...  
И не бродить среди могильных плит.  
Бог с ней, с ушанкой! Купим поновее.  
Авось не вспыхнет. Не испепелит.

\* \* \*

Уже темно в восьмом часу,  
В душе неловкий крен.  
Достань бутылку, колбасу,  
Батон, свекольный хрен...  
Пусть время семенит дождём  
И шаркает листвою.  
Твой дом не крепость, а паром,  
Но главное, что твой.  
Затерянный средь берегов?  
Частенько не у дел?  
Поблагодумствуй: таков  
Нехудший наш удел.  
Сегодня гости на порог  
И кухонный уют,  
И трёп, и водочный парок,  
И шутят, и поют...  
А стёклышком застывший яд  
Потом в преддверье стуж  
Возьмёт в уплату, не в заклад,  
Ноябрь из наших душ.

\* \* \*

Вскормленный жестоким горьким молоком  
Внял оракулу и плугом землю тронул.  
И вопрос, как гром, из-за облаков:  
Где же брат твой, Ромул?  
На двоих была утроба, короб и волна,  
Шерсть и рык, и даже мести омут,  
Та, что ты захочешь всю сполна, —  
Власть. Родства не помнит.  
Потому тебе не спать и не встречать врага  
За стеной твоей железом обнажённым.  
В память о той крови отворят врата  
Краденые жёны.

На холме прекрасном воздух синий разрежён,  
Гордый град, где кровь ведёт между окраин.  
Даже смерти нет в бою тебе, сражён  
Чёрным ветром, Каин.

\* \* \*

Я из дворняжек и люблю дворы,  
Сквозные поры города сыры...  
Но бес ли, ангел — кто-то спел: «Не надо».  
Пой, птичка, коготок уже увяз,  
Так смотришь жуть, смакуя новояз,  
Чтоб не смотреть картину листопада.  
Об эту пору всем, кто не готов,  
Душа являет столько закутов...  
Тьма-Скорпионь опять стусилась к ночи.  
Там бродит старикашка Эдельвейс  
(Его с акцентом сделаем: «их вейс»),  
Он про байду астральную бормочет.  
Невежество не худшая из бед,  
Где чей-то фейс, испит и не воспет,  
Почти что лик. А что там скрыл овражек,  
Уж не заглядывай, имей и стыд, и страх,  
Укрой меня в жилых твоих дворах,  
Согрей и прикорми — я из дворняжек.

\* \* \*

Захолустней хляби, захлобыстней.  
Ни тебе ковчега, ни навеса...  
Дождь под веками — мерцающие листья  
Изумрудно-девственного леса.  
И ведёт — не выведет в чащобу  
Без дороги, сквозь сплетенья терний.  
«Мокро тебе, девица?» — «Ещё бы!»  
«Одиноко?» — «Это мы потерпим...»

\* \* \*

Буковский говорит:  
люди со сверхидеей, действительно, больны.  
Он признаёт свою болезнь через много лет.  
Он опять бы вышел с плакатом на площадь,  
на главную и очень покатую площадь страны...  
Но страны той нет и плаката, пожалуй, нет.  
А Буковский есть, но выйти не стало проще.  
И поэтому выходишь ты, девочка Оля,  
с плакатом «Путин мучает Украину»,  
та самая девочка, чердак возле оперного, кокетство  
с «дайте умереть спокойно», с непрошедшей болью  
от непрошедшей любви, одушевившей глину;  
да, зубная боль, от которой средство —  
свинцовая пломба и зубной порошок Бертольда Шварца.  
Всех любимых мучают, выйти, нельзя остаться...  
Нельзя нам расстаться.

\* \* \*

По чесноку, зачем по чесноку?  
Пусть бездна смотрит где-нибудь, но без нас.  
Сию на свежеспиленном суку  
и думаю, что разлюбила честность,  
не то чтобы во славу доброты,  
хотя и не без этого... Но всё же  
скорее просто так. Мир, тесен ты,  
и честность в этой давке не поможет,  
не выведет на свет, тот сам блеснёт,  
и выстрел, точно выстрелил винчестер.  
Не жизни срез, скорее уж скриншот  
того, кто мониторит нас, бесчестных...

\* \* \*

Проживём-ка без роду, без племени  
У черничной горы под пятой.  
Обстоятельства места и времени  
Перечислены без запятой.  
Молоко, что толкнёт под ключицами,  
Рябь по крыше, крути по воде...  
И недоброго не приключится нам,  
Вновь обретшим запретный эдем.

\* \* \*

Мне жаль, что я не меднум домов,  
Не краевед... и стихотворец тоже  
Во мне, хоть жив курилка, но, похоже,  
Понять их чудный говор не готов,  
Он слишком занят перебором слов  
И выделкой презренной тонкой кожи...  
Мне жаль не потому, что мы похожи,  
Не потому, что в окнах их укор,  
Не потому, что предок жил когда-то  
В утробе деревянного собрата,  
Попавшего на городской костёр,  
Но выросшего вновь... С каких-то пор  
Не слышать голос — горшая утрата,  
Чем грех измены или невозврата,  
Когда запрета нет...  
И в этом соль,  
Невозбранённость — вот она! Все рядом:  
Поди, коснись, лизни и выпей взглядом,  
Перекались в толпе, людская голь...  
Захочешь пыль поцеловать — изволь!  
Но стоит ли... Вергилий вскормлен адом.

А ты тоской по аду своему.

**«Это будет? Или было? Там-то ты жива?..»**

Кажется, что я слышу Алёнкин голос, с которым она произносит слова «Но детство отхлынуло тяжко назад». Её стихи всегда были в «сиянье тревожном». Она оказывалась в чём-то мудрее всех нас, киевских поэтов 90-х, увлекавшихся экспериментами даже в своей традиционности. И Киев в её стихах уже тогда связывался с кочевничеством. Словно она спешила удержать его в памяти, чтобы было к чему возвращаться. Искала себя в еврействе, и об этом — в парадоксальном стихотворении, построенном на русских пословицах. Её прония, которая со временем нашла выход в малых формах («порошках»), в настоящих стихах, думается, прикрывала ранимость. Много переплелось в этом поэте, и библейские аллюзии порой выглядели не литературным материалом, а событиями текущей жизни. «И недоброго не приключится нам, / Вновь обретшим запретный эдем», — словно заклинала Алёна судьбу. Но знала, что «С каких-то пор / Не слышать голос — горшая утрата, / Чем грех измены или невозврата, / Когда запрета нет...».

Я пишу об этом в Доме трёх культур, на польско-чешской границе, в литературной резиденции «Парада». Как раз тут, в Карконошах, я услышала довольно много о духе гор, которого почитают немцы и чехи и которого сразу узнала по первой строчке стихотворения Алёны «Мы в руках Рюбецаля, и держит он нас на весу». Она была очень чутка к глубинным силам, к присутствию в нашей жизни тех, кто ушёл, как в прекрасном стихотворении «Памяти бабушки», откуда взята строчка в заголовке этого послесловия. Она одушевляла многое, как, например, электричку из стихотворения «Электричка-истеричка, что ты мчишься по весне», заканчивающегося уподоблением сигнала электрички эмоциональному звуку, который мог бы издать человек. «Мы тот жадный, долгий возглас принимаем за гудки». Надо ли говорить, что, когда я слышу голос электрички, сразу вспоминаю Алёну Тайх.

*Наталья Бельченко, поэт (Киев)*

Михаил Либин

## Сосед

Ритуал встречи его после работы появился ещё в благополучные времена, когда он ещё мог каждого встречающего отблагодарить подарком. Как только он вставлял ключ в предбаннике, в прихожей перед входной дверью мигом скапливалось семейство. Первым прибежал кот Ватос, почему-то так названный предыдущими хозяевами, рядом устраивался хомяк по имени «Хомик», вставал на задние лапки, а передние вытягивал к входящему. Жовто-блакитный попугай Грицай с женой Варварой Никитишной цеплялись за трюмо, уже белое от их кашек, и Грицай истошно вопил — «Хто там?». Одноухий заяц, жилец тогда ещё новый, только-только спасённый из-под трамвайных колёс и ещё никак не наименованный, открывал лапой туалет, прятался за распахнутой туалетной дверью и оттуда выглядывал. Иногда, не всегда, зависело от его настроения, приползал в прихожую длиннющий уж Костя и норовил свернуться клубком под котом. На него пару раз уже наступали, входящие и открытые пространства гад не любил. Черепаха, естественно Тортилла, успевала проползти только треть пути и каждый раз от этого очень расстраивалась и гадила на пол. Жена однажды поскользнулась на её выделениях, больно села на копчик, и будущее у черепахи виделось мрачным. Разная другая живность, переполнявшая их двухкомнатную квартиру, участвовала в ритуале опосредованно — необыкновенно умные астронотусы скапливались у стенки аквариума, через которую прихожая хорошо просматривалась, и начинали беситься, как только он открывал дверь. Казалось, что аквариум сейчас лопнет и все полтонны воды зальют ненавистных соседей снизу. Жена начинала на них орать и махать половой тряпкой, что только усиливало общее ликование. Даже любимец жены, капуцин Мойша, в принципе хозяина не любивший и не уважавший, отвлекался от телевизора и поворачивал морду в сторону общего гвалта.

И Валентин входил. Открывал огромную сумку, которую при выходе с работы уже и не досматривали, настолько было понятно её содержимое, высыпал, выливал, вываливал.

И в квартире начиналось пиршество.

Потом, когда за хроническое воровство продуктов его из зоопарка уволили и благополучие иссякло, ритуал ещё какое-то время сохранялся, но через несколько недель безденежья встречать Валентина выбегал только верный хомяк. Где-то он устроил схрон ворованной еды и ещё держался молодцом. Валентин жал ему лапку и обходил свои владения, выясняя, кто ещё сдох от голода. Тушки зверьков и рыбы тела он заворачивал в пузырчатую плёнку и складывал на верхней полке пустого холодильника. Жена уже давно съехала к сытому другу. Аквариум опустел и был продан за гроши. Грицая с Варварой он выпустил во двор, давая им шанс залететь в какую-нибудь гостеприимную форточку. Договориться они смогут, обучены. Коту Ватосу к голодным временам было не привыкать. Он давно был на самообеспечении и теперь изредка возвращался к хозяину и складывал ему на подушку свои трофеи — то воробушка, то мышку. Ни то, ни другое у хозяина слюноотделения не вызывало.

С зайцем было плохо — морковь и картошка, которые Валентин находил в мусорных ящиках, были совсем гнильём. Листы капусты, которые он подбирал у овощного, заяц есть отказывался, его от капусты пучило и тошнило. Зверёк совсем истощал, почти не двигался, встречая хозяина огромными, наполненными слезами глазами.

Константин исчез. Скорее всего, растянулся где-то за плинтусом. Черепаха ещё ползала, вытягивая голову в сторону кормильца.

Сам хозяин голодал сильно. Занимать в долг было уже не у кого, все мизерные деньги, что удавалось заработать грузчиком и подметальщиком, забирала жена до копейки, хорошо, хоть в суд не подавала на алименты.

Валентин был человеком гордым. Ни одна живая душа в городе не знала, насколько ему плохо. К друзьям он ходить перестал, меня избегал. Пользовался только чёрной лестницей, и я, убегая из дома, не видел его ни разу — ни утром, ни вечером,

ни в будни, ни в воскресенье. Мне б насторожиться — ну мало ли. Но лихая моя телевизионная кутерьма меня ослепляла. Куда денется! Появится!

Забеспокоилась мама — что-то слишком тихо наверху — и петух утром не кричит, и не заливает нас никто, и змеи по ступенькам лестницы не ползают. — Загляни, что там?

Я поднялся на пятый. Звоню, за дверью тишина. Так быть не должно. Никогда не было. Нехорошо на душе стало. Тревожно.

Рано утром в форточку постучал Грицай. Один. Худощий и потрёпанный. Но узнал я его сразу, по плешивой грудке. Впустил. Грицай сел мне на руку, и был такой он молчаливый и грустный, что у меня защемило. — Что с Валея? — спросил я птицу. Грицай наклонил голову, повернул ко мне глаз и так сидел, не шевельнувшись.

— У меня есть ключ, — сказала мама. — Когда он уходил в армию, оставил.

Я поднялся наверх, с трудом вставил ключ в скважину и медленно повернул.

Сколько раз мы всей зоопарковской компанией вваливались в эту дверь и какая Ноева компашка встречала нас в прихожей! Сколько было гама, ору, свиста, животного и человеческого мата, хохота. Как счастливы были в этом ковчеге и звери, и люди.

Квартира была пуста, холодна и беззвучна. Перед дверью лежал хомяк с протянутыми ко мне лапками. Серая лента ужа, уже пересохшая и пожелтевшая, перегораживала коридор. Запах стоял невыносимый. Я зажал нос и, перешагнув через Костю, прошёл внутрь. Под письменным столом лежало что-то, что раньше было зайцем, и было видно, что последней едой несчастного были листы валявшейся рядом книги. Это была книга Даррелла с моей дарственной надписью. Перевернутая черепаха лежала рядом, вытянув шею с опрокинутой мёртвой головой. В углу на осколках большого террариума неподвижно чернели тельца мадагаскарских тараканов. Один из них, самый крупный и наглый, был когда-то назван в мою честь — Михаилом. Я его тогда узнавал, и, кажется, он меня. Который именно? Между оконных рам раскинула засохшие крылья очень

дорогая, насколько я знал, бабочка. Валентин называл астрономическую сумму за неё, ему предлагавшуюся. Лоскуток прозрачного пергамента. Почему же он её не продал? Почему мне не звонил? Что тут случилось?!

Хозяина квартиры искали, не нашли. Я его никогда, естественно, больше не видел, не знаю, что с ним, где он.

Иногда он мне снится. С зайцем на коленях.

## Ветер

Река ветра заворачивала в городок с северной его стороны. Возможно, поэтому обрамляющие ветер струи, особенно нижние, были сильно холоднее всего потока, летевшего до того прямо с востока, с прогретых уже к маю среднерусских и польских возвышенностей. И если удавалось стерпеть первые морозные прикосновения, то голые ноги старого звукорежиссёра быстро оттаивали и обволакивались теплотой и приятностью. Он не стал натягивать носки, так и сидел на террасе, положив ступни на подлокотник соседнего кресла, в утреннем халате и шлёпанцах, прихлёбывал кофе, слушал весну. Весна звучала набегаящими волнами тихого гула, скрипом стволов, плеском листвы, птичьими вскриками. Он занялся привычным делом — расслаивал весь этот звуковой массив на отдельные каналы, разносил панораму, вытягивал что-то вперёд или отодвигал левее, тушил лишнее, обрезал низы, добавлял реверберации, вытягивал мелодию... Пальцы его парализованной руки, лежащей на коленях, вздрагивали, будто крутили ручки, нажимали и отжимали кнопки, двигали ползунки... На ближней сосне знакомый дятел в красной ермолке пристроился музицировать. Старик прикрыл глаза, ожидая вступления. Сначала простучало короткое трезвучие, привлекая внимание маэстро, тот даже вытянулся в предчувствии соло, потом ритм стал набирать мощь и темп, какое-то время длинноносому драммеру удалось удерживать даже бластбит, и всё оборвалось внезапно, на полуакценте, на вдруг

чрезвычайно мягком ударе, ударе «призраке», который если и слышится, то только в голове слушающего. Оборвал и оглянулся на старика — как ему такой ритм? Тому понравилось очень. Хотя напрашивались и правки. Маэстро правой здоровой рукой отстучал в ответ свой вариант. Дятел или не оценил, или оскорбился, взмахнул чёрными в белую крапинку крыльями и исчез, не закончив партию и не простившись. Ветер заполнил внезапную паузу, взвизгнул свистящим завихрением, пробежался по проволочным канатам для белья, и те зазвенели, хлопнул форточкой и медленно затухающе стих, отдав всё звуковое пространство хищному мотоциклетному рёву, который прятался уже давно, под всеми слоями шумов, где-то за краем поля, и вдруг вырвался на передний план торжествуяще и нагло, так что стёкла в буфете задрожали оглушающе и борода звукорежиссёра скривилась и отвисла. К счастью, адский звук оборвался почти сразу, микшируемый волной шелеста, шороха, свиста, звона далёкого трамвая, перекликающегося со звонами посуды из кухни, далёкими голосами людей, детей и животных, обрывками музыки, колокольными переключками, журчанием в желудке, стуком, наверное, сердца. Ветер кончился, и запах жареных пончиков осел вокруг него и вернул к реальности.

## Тридцать три

«А точнее?» — спросил он, отвернувшись к окну. За окном набухла сирень, чёрные скворцы выковыривали что-то из изумрудной травы, из жёлтого фургона выгружали перед соседним участком огромные керамические горшки и мешки с переносом.

«Месяца два. Вряд ли дольше. Мы можем ещё вас подержать в клинике, но это ничего не даст, не хочу вас обманывать. Два раза в день принимайте это, два раза по тридцать-сорок капель, не больше, болей не будет. Если будет тошнить, пейте больше воды. Два раза в неделю сестра будет приезжать к вам, делать укол. Не беспокойтесь. Однажды вы просто уснёте».

Трамвай катился по лесу. Оранжевые голые стволы обступили колею, перекатывались, передавали вагон друг другу. На повороте его коляску наклонило, какой-то мальчик подхватил, удержал. Они улыбнулись друг другу.

За кухонным окном сидел кот, ждал. Увидел у калитки коляску, засуетился, забегал, приветственно поднял хвост. Сквозь стекло блестел пол в дальней комнате и белела раскрытая на полу упавшая книга. Когда его увозила скорая, задела полку, книга упала и так все эти недели пролежала. Он загадал, что за книга и на какой странице раскрылась.

Книгу не угадал. А страница оказалась точно тридцать третьей. Ему на 33 всегда везло. И шкафчик в детсаду был тридцать третьим. И автобус этого номера шёл к школе. И первый раз женился он в загсе с таким номером, правда, не очень удачно. А однажды на ипподроме 33-й номер принёс ему единственный в жизни большой выигрыш, сразу, впрочем, промотанный. И в возрасте Христа случилась единственная в его жизни любовь и радость. Пусть недолгая, но запомнившаяся до конца. И вообще красивая цифра.

Прежде всего он снял с кухонной стены календарь. Разорвал на страницы, скомкал и бумажный комок выбросил через кухонную дверь, целясь в синий контейнер у калитки, промазал, пришлось забираться в коляску, катить в сад, поднимать. В саду оглушительно пахло весной, он запрокинул голову, закрыл глаза и немного поспал.

Пришёл соседский сын, который уже полгода выполнял функции секретаря при нём, принёс коробки для упаковки библиотеки, расставил их перед стеллажами, записал список поручений, которые им были обдуманы ещё в клинике. Забрал стопку писем родным и друзьям, почтовый ящик был на соседнем перекрёстке. Уходя, накапал в стопку 30 капель, протянул ему. Он подумал и попросил добавить ещё три капли.

На закате вернулся из сада кот, обошёл коляску, осмотрел хозяина, зевнул и растянулся, свесив хвост, прямо поверх старого толстого ещё монитора. Монитор потому и не меняли, хотя давно надо было, настолько привык хозяин к этой пушистой завесе перед экраном, которую всё время приходилось сдвигать в сторону.

Просмотрел скопившиеся комменты на своих страничках, на некоторые ответил, удалил свои аккаунты из трёх соцсетей, все фотографии, все тексты, глянул по диагонали на ленту новостей, поморщился и отключился от сети. Навсегда. Свет в комнате включать не стал, так и сидел у окна, растворяясь в сумерках.

В полной темноте подкатил к нему сияющий тридцать третий автобус, неожиданно полный пассажиров, голосов, музыки.

Кот в последний миг примчался из кухни, заскочил в салон и радостно заорал. От этого ли крика или от чего другого лопнули почки в саду, и всё вокруг зазвенело и закружилось. 

Генрих Шмеркин

## Горячая линия

*(Диалог ведётся на немецком языке, приведён русский перевод)*

Динь-дилень! Динь-дилень!

— Добрый день. Фирма «Мадам Бонжур» слушает.

— Здравствуйте, моя...

— Хэлло, котик! Давай сразу на «ты», а? Меня зовут Гретхен, а тебя?

— Здравствуйте, моя...

— О, я понимаю! Ты не можешь сразу на «ты». Ты настоящий благородный рыцарь. И от этого ты становишься ещё желанней, а я — ещё трепетней, ещё податливей. Ну, давай же, не молчи, говори что-нибудь!

— Здравствуйте, моя фамилия Арцыбашников. Я звоню по вашему объявлению в газете. Я приехал из бывшего Советского Союза. Мне уже пятьдесят, но я в отличной форме. Скажите, где вы находитесь — и я примчусь!

— Нет, котик, это исключено. За такое меня сразу отсюда...

— Вы не пожалеете — я подойду вам по всем параметрам.

— Нет-нет-нет...

— И кроме того, у меня творческий подход.

— (После некоторой паузы.) Творческий подход?.. Ну, котик, если ты так настаиваешь... Хотя вообще-то... мне по должности...

— По должности? Как указано в объявлении. Меня интересует должность инженера в вашем инженерном бюро. У меня творческий подход, колоссальный опыт, подтверждённый диплом. Я хорошо говорю по-немецки.

— Ну, котик, ты насмешил! Мне очень жаль, но ты ошибся номером. Наша фирма оказывает сексуальные услуги — по телефону.

— Я отлично понял, что вы сказали. Пожалуйста, повторите ещё раз и не так быстро.

— Котик, а я и так не быстро. Мне быстро нельзя. Я говорю, это не тот те-ле-фон!

— Да-да. У меня есть телефон. Значит, записывайте: ноль-двести семьдесят один-пятьсот семьде...

— Ну ладно, дурачок! Ты знаешь, что этот разговор обойдётся тебе больше двух евро в минуту?

— ...Гм, в минуту... Ну, если в минуту, то всё равно — из расчёта 15 евро в час. Брутто, конечно. Я очень хороший специалист, и у меня...

— Ну ладно! Не вешаешь трубку, так займёмся делом! Я сгораю от страсти! Закрой глаза и постарайся представить меня. Я — стройная блондинка с большими голубыми глазами. Ты уже закрыл глаза?

— Глаза?!

— Да, глаза!

— С глазами нет проблем. У меня отличное зрение. И я хорошо говорю по-немецки.

— Да я уже поняла... Ты давно в Германии? Сколько лет?

— Я же говорил — мне пятьдесят, но я очень хороший специалист, и у меня большой стаж.

— Большой стаж? Вот прицепился! Послушай, мне наплевать, какой у тебя стаж. Да мне по барабану — инженер ты или садовник!

— Садовник?! (Пауза.) Согласен — садовником!

— Э, как тебя здесь скрутило, раз ты за любую работу цепляешься... Ну ладно. Ты мне понравился.

— Я вас отлично понимаю.

— Так вот. Есть тут у меня один русский, которым я верчу, как хочу. У него своя фирма, и все там — русские. Так что тебе, мужик, и немецкий не понадобится. Позвонишь ему, скажешь, что от меня! И возьмёт он тебя инженером, а не садовником!

— Да-да, я приду со своей поливалкой...

— Не перебивай! Сейчас я дам телефон этого парня! Позвонишь ему. Скажешь, что от меня! И пусть только посмеет сказать, что ты ему не подходишь!

— Понял... Я не подхожу... Вашему инженерному бюро... Даже как садовник... Потому что мне уже пятьдесят... Извините... До свида...

— Ты делаешь меня сумасшедшей! Не бросай трубку! Запиши телефон!

— Подумаешь, как разоралась! Бордель, а не инженерное бюро! Да я таких, как ты...

(Короткие гудки, он бросает трубку.)

## Дым отечества

Он жрал с утра до ночи уже целый месяц, и никто не мог его остановить. Пижама становилась всё тесней — он катастрофически прибавлял в весе. Домашние были в шоке. По утрам он вставал и сразу шёл на кухню. Прикрывал окно с видом на Марктплац, наливал воду в кастрюлю, ставил на огонь, солил и сразу же начинал чистить картошку. Потом чистил небольшую морковку. Картошку нарезал крупно, морковку — помельче, старательно разжаривал на сале кольца лука, потом забрасывал всё это в кастрюлю. А когда картошка была уже почти готова, вбухивал в клокочущее варево полное блюдо квашеной капусты, которую покупал у рыжеволосого Гельмута, приезжавшего на Марктплатц по четвергам из соседнего Нидербибера. Заправлял томатом, снова солил, добавлял перцу. Варил без крышки, постоянно принохиваясь, помешивая, пробуя и причмокивая.

Не давая щам остыть, тут же сжирал целую кастрюлю, опять ставил воду на огонь, опять солил, снова чистил картошку... И так целыми днями.

Жадно вдыхая воздух, поднимающийся над кастрюлей, давясь и обжигаясь горьким своим варевом пополам со слезой, он глотал своё детство и юность, сырой полуподвал на Карла Маркса, насквозь пропитанный запахом щей, сквозняки в полутёмном коридоре и футбол до одури на пыльной мостовой, общежитие строительного техникума, Людку с третьего курса — свою внезапную любовь, рождение сына, женитьбу, комнатку на Рымарской с крохотным оконцем, солнечные зайчики над детской кроваткой, пустынный коммунальный предбанник и бело-

телую соседку в тесном халатике, слезающую с антресолей и придерживающую бигуди... Глотал Людкин уход, мимолётные встречи с сыном, смерть отца, глотал свою жизнь, туго вполётённую в кислый запах щей...

Горячее варево таяло на зубах, по телу разливался вкус родины. Он пожирал свой дом, свой город, оставшихся там друзей, жрал сполна свой исход, жрал себя самого — ещё молодого, беспечного и никак не мог нахлебаться, надышаться, навидеться...

Он сожрал себя без остатка. И стал другим человеком. Начал шутить, читать газеты и посещать бассейн. И вообще перешёл на жареные сосиски. 

## Инна Краснопер

\*

это не наш город  
в нашем городе не идёт дождь  
это не наш город  
в нашем городе не повторяется  
это не наш город  
складывающий пучок за пучком  
это не наш пучок, не наш дом  
это не наш дом  
что за мода такая  
это не наш лес, не наш предбанник  
это не наши сени, там не стоят банки  
это не город, не наш холод

в нашем городе зуб на зуб не попадает  
в нашем городе окна не поскрипывают  
наша серия состоит из двух-трёх итераций  
наша поляна засыпана перламутром  
это не наша мать, прамать и продольная мышца

мы шелестим не здесь, не сперва и не прервано  
мы рядом, рядышком  
в рядовом порядке  
rooted в рутении, ртутно  
рутиной

это не наш день, не наша ночь  
не наш человек  
это не подкладывает, не подкрадывается  
не приоткрывает сустав

это не наше время, не наше бедро  
не наш взмах

это не город, не род, не выше город  
не выйдет не в высь не в плоскость не в ширину

это не льну, не по льну  
не по жившему жну

не по живущему выжатому вытертому  
по гну

по градации грудному

по день по дни  
на тель да  
ющему  
дну

\*

из решета вышла духовка  
из духового шкафа — шарф  
из дуршлага вышло мыло  
из меня ничего не вышло  
из шила поменялось всё  
из вшей ползли вошки  
из ушей шёл дым  
из морей выходила земля  
из золы вертелась копоть  
из рамки выходил стог  
из полей колосилось сердце  
из сердца шла манная каша  
из широких штанин доставались брюки  
крюк возвращался в железо  
железы наполнялись прытью  
из рва ревели комки  
из комаров шло стадо

из давна так говорили  
из давали звуки  
из даивали слова

доили истории  
рекой лилась метаморфоза  
без метра история шла вперёд  
без мета позиции куда  
кудах тада!  
топаз желтел жёлудем  
то падала земля, то поля  
то пор доставался еже-часно  
ежи искал петруччо  
ежи искал театр  
ежели хочешь  
театр как проводник

наводнилась земля проводниками  
не хватало прутьев и напёрстков  
нет — прутьев достаточно

корчились в земле чёрствые букашки  
чернели дровяные черви  
челобитные писались без умолку  
без толку без расстановки  
расставались  
на полу/слове гремел гром  
на грозе возились с небом  
получалось ведёрко с почестями  
почём ведерко  
нет, только показывают

пока мы показывали  
дождь прошёл  
когда мы начнём показывать снова  
дождь начнём  
дождь начнётся и кончится уже  
завтра

\*

есть ли seele у sophiensaele  
есть ли штрассе у софиен массы  
есть ли кресты и софиен мосты  
есть ли соня у любой софии  
есть ли софия на каждую соню

найдётся ли на мою соню  
кто-то спросонья  
наволонтёрить получится на соню  
на сонорную соню с пооп'а

есть ли пооп после обеда  
есть ли обед без завтрака  
есть ли будущее у ваших детей  
есть ли дети в загашнике

припасены ли дети на потом  
им об этом сказали?  
найдётся ли на них софиенштрассе

найдётся ли шоссе на сашу  
где сушка с ушками  
засушили ли сушку на вчера

рано ли наступает вчера  
приходит ли оно по вечерам  
очаровательны ли ваши вчера  
вчетвером можно вчера сдюжить?

на каждую дюжину вчера найдётся  
а если оно не найдётся: is it even there  
у вчера стекают волосы с головы  
они текут четвергом

они чередой сменяются  
заменой будут тополою  
к ним подобраться полем  
не разобраться с оползнем

полезло за полозья

\*

присягая по пятам не при-пят-ствуя  
нужно ли присутствовать «ребёнку 10-летнему в консульстве  
украинском на продлении загранпаспорта его?»  
нужно ли присутствовать в классе  
нужно ли предельно распределить возраст  
нужно ли расти по пятам

нужно ли вырастать по годам  
нужно ли годиться  
сгождаться воспитаться статься  
паспорт продлиться вписаться  
в мама паспорт  
папа паспорт  
доча у дачи

удачная доча происходит из паспорта  
из развитого рынка по развитию витых и разбитных  
способностей

у особей пола паспорта  
в полу паспорт из-под полы дос  
тану

дос то почтен ный возраст досыта  
доставка возраста по паспорту  
документо оборот  
оборотень pass у порта  
у лодки у лод бжки

в lod'e  
солью укрытые пас порта  
спре сованные у сованные за со  
ванные и рас  
фасованные

паспорта на разный фа сон  
сон паспорта  
сон с продленной «с»  
нет — «н»

ссонн  
сонм  
в продлёнке  
в промокашке

в развитой странке  
(ино)  
странной как слово  
подверженное странствиям

на самокате в самонепереводимом окуне  
окунается с рыб  
кой  
в срубe стоящем сто летия  
зарастающем и за росшем

выросшем до того чтобы  
выписаться из паспорта дерева

в при-сутствии

\*

вот слова  
это не твои слова  
ты эти слова не переводи

лучше расскажи про лю  
 про лучшую людину  
 про односложную несложноподчинённую  
 про молви  
 про молчи

про чно  
 про чти  
 про то как  
 не надо

\*

слово о полку слово о сапоге слово о трёх китах слово о  
 подорожнике слово о взрослении слово о росте слово о защите  
 слово о захисте слово о безвремени словооосмещении слово о  
 сближении слово о пачке слово под кошку слово подо ртом  
 слово пода вай слово под лежа слово под ска

слово под сказанное слово во спол ненное слово  
 вспомненное слово по лено  
 слово по стой слово вор obeу слово о страхе слово о  
 гов ости ко слову ко стьми

слово об орле слово пере мычка слово пере сказ  
 слово под нож ное слово по став ленное вро зь

СЛОВО-НЕ-УЗ-НАННОЕ из устной ус тали слово  
 НЕ-ИЗ менник

слово под берегом слово над порогом слово \* не пой \*  
 манное слово манны

слово конца слово выдвор слово упор слово спа с да с  
 дя (кую)

\*

на мою землю свалилась комета  
она сошла с языка  
но речь не о нём

каждую ночь вокруг моей земли сверкают кометы  
они подбирают хвосты моих снов  
и выдёргивают их навсегда  
с корнем

каждую ночь моя земля наполняет чертаново  
каждую улицу ходит и обходит вокруг  
кометный дозор  
остромётный прибор  
водоворотный узор

моя земля стоит intact  
но её уже нет  
она заходит за такт

тактический удар  
в подтакт под дых под ворот

под ворачивает моя земля подол  
и зыркает  
каркает  
как каракатица

подбирает подол и закатывает  
залатывает  
отлетают от моей земли

опытные чернолеса  
отходят лесом под весом

спускаются вниз  
надевая позор

как узорчатый намотанный шарф размахрившийся  
раз шевеливший ся  
раз в квартал  
бьют часы по талому  
стану

уставшей станции  
утратившей челюсть

\*

ты видели, там похоронено наш язык  
ты видели, там развевался наш язык, флаг наш  
ты видели, моросил дождь  
спускалась хоронная церемония  
хором шли за ней  
куски завязи увязали ошметки за́грязи  
слипались  
про(ли)валивались  
ты видели, язык не чешется и не горчит  
он не шершавый, видели ты, он она наш язык  
ты видели, разверзалась пропасть под ы  
подыто\_ подста\_  
ты видели, смотреть было некуда  
ты видели, желтизна шелестела  
ты, шесть в уме, видели, слышали ты  
ты слышали, шуршали поскребушки  
ты слышали, никакие бёдра не раскрывались в прыжке  
ты слышали, о цветках не сцветают  
ты слышали, шёлк не слагается  
ты слышали, отброшенные ты, твы  
ты вы твоё твой ё  
творчато, слышали ты, наблюдали ли  
в створках всё, слышали ты, розлягаются  
поверх справа и слева от  
отворяй ворота, вот она tot ta

\*

хорошо говорить любимому прощай  
они будут звучать снова и снова  
при каждом удобном

хорошо говорить любимому до свидания  
auf wiedersehen

хорошо выкладывать на стол весь мусор из сумки  
прикладывать пылинку к пылинке

хорошо говорить вылюбленному  
у тебя пятно на куртке  
у тебя яблоко в глазу  
и шнурки на антресолях

хорошо покупать нужную соль  
а всю ненужную высыпать восвояси

хорошо выспаться  
чтобы снова не отсыпаться  
не подпирать потолок  
не волочить существующее  
не шипеть и не петь  
без смысла смываясь

## Ольга Брагина

\* \* \*

так совет покинуть зону комфорта оказался взрывом  
ракет теперь её нет нигде сколько видели мы городов там люди  
сидят в кафе катаются на самокатах

я говорю купим книжные полки и новый шкаф я  
купила столько новых магнитиков которые некуда клеить  
книжные полки и шкаф как в Европе выплатили кредит  
за плиту на которой не можем готовить

ходим по району говорю смотри вот дом как на  
Троещине вот дом как в Дарнице  
вот набережная как на Днепре странно что всюду одно  
и то же

говорю здесь нет киосков кофейных  
мама говорит у нас люди думали какой бы придумать  
бизнес и все пооткрывали киоски с кофе  
мне нравились эти киоски с кофе вроде занята чем-то  
пошла купила стаканчик можно было выбрать кофе по-венски  
например

или лавандовый раф или что-то ещё ностальгия  
проявляется здесь как угодно сейчас вот так  
словно одна часть жизни перемолота в порошок а  
другая

существует всё так же всё те же дома пейзажи  
станции метро не едущие дальше конечной  
когда мы были в хостеле в Тернополе люди говорили  
хотелось ещё пожить посмотреть мир всю ночь выла сирена  
женщина говорила внучке это ничего не надо не плачь

\* \* \*

фотография с букварем в котором мы читали «миру —  
мир» а взрослые говорили «лишь бы не было войны»  
всё можно пережить только лишь бы не было войны

мама думала в 91-м слава богу что не началась война  
потом мы забыли про войну погрузились в мексиканские  
сериалы

на толкучем рынке отвоёвывали модные джинсы  
война была где-то в новостях бесконечным фоном  
война-мир-война сколько уровней в компьютерных  
играх

удалось пройти сколько получить дофамина сколько  
адреналина

считать количество массовки слыхать достоверность  
реалий в батальных сценах

это всё ненастоящее это хромакей двухмерного мира  
мы научились читать «миру — мир» и чего же боле  
если нам обещали мир откуда берутся войны  
если нам обещали мир откуда война внутри

\* \* \*

будущее наступило и у него оказались твои глаза  
глаза убитых детей успевают ли жизнь пробежать перед  
глазами

прежде чем ракета взорвётся  
что мы помним о молнии — гром доходит к нам позже  
будущее наступило кем вы видите себя в нашей  
компании через пять лет

когда-то меня не взяли на работу в нефтегазовую  
компанию

прочитали резюме на сайте пригласили на  
собеседование а я не думала о работе в нефтегазовой компании  
я думала что достойна этих сапог в витрине за восемь  
тысяч

думала раз продаются такие сапоги наверное кто-то их  
покупает

и значит я тоже могу столько денег получить в  
процентном соотношении (в смысле не тратить ведь на сапоги  
всю зарплату а так какую-то часть)

будущее наступило и я не вижу себя ни в одной из  
компаний

я смотрю на берлинское озеро тут регата  
словно ракета взорвалась и мы оказались по ту сторону  
зеркала  
в детстве мне было очень интересно что находится по ту  
сторону зеркала  
я смотрела в него и думала как же туда проникнуть  
сейчас оказалась здесь

\* \* \*

ко всему ли привыкает человек в нулевых я думала что  
буду делать если начнётся катастрофа  
на улице ещё не было опасного ничего а у меня уже  
была агорафобия  
в кинотеатре я начинала задыхаться  
за окном ещё не было ничего а я думала что буду делать  
если наш дом рухнет  
что буду делать раз от опасности нигде не скрыться  
потом увидела визуализацию всех своих страхов вживую  
когда не спрятаться ни внутри ни снаружи  
чтобы привыкнуть кажется нужен двадцать один день а  
жизни для этого не хватает  
переиначим классика чтобы привыкнуть нужна ещё одна  
жизнь  
нет конечно во мне есть что-то вроде любопытства я  
смотрю дворцы и музеи  
но словно сквозь дымчатое стекло словно сквозь плёнку  
словно призрак глядящий на жизнь чужую  
не прикоснуться не сказать ничего  
нет конечно во мне есть что-то вроде любопытства но  
вчуже  
больше всего я люблю смотреть на чужую воду  
на катера плывущие по ней катера и яхты  
словно есть выход отсюда словно где-то есть жизнь

\* \* \*

в начале нулевых я купила розовый поднос в «Фарфоре-  
Фаянсе» и была счастлива  
а сейчас я живу в двухкомнатном номере на Ваннзее и не  
чувствую ничего

да можно сказать что тогда я не знала ни о каком Ваннзее  
а пробки и нечищенный лед был у меня под ногами  
наверное мне хотелось сказку Франция или что там  
самое дешёвое что у нас продают  
теперь я не чувствую ничего кроме боли  
вот ирония судьбы ничего кроме боли  
в ситуации когда любой человек был бы счастлив  
когда у тебя за окном Ваннзее рядом Берлин  
вспоминаю этот поднос он лежит у меня в буфете  
эти картинки sage растенья Прованса  
тех времён когда я не надеялась попасть за границу  
и у меня для счастья дизайна был этот поднос

\* \* \*

в 2019-м году я ездила на фестиваль в Харьков  
он проходил на выходных второй день фестиваля был  
вторым туром выборов президента  
поэта из соседнего государства не пустили в аэропорту  
из-за печати на вызове закрыли въезд на пять лет  
в воскресенье на вечер Георгиевской пришёл агент в  
штатском и задавал вопросы о поэзии  
мы пошли в ресторан обедать поэт-эмигрант говорил а  
вот смотрите в программе так много поэтов из Бучи что это за  
место Буча такое поэтическое место?  
говорил вот в Харькове было много поэтов а кто из  
поэтов родился в Киеве кроме Киселёва  
я сказала Волошин например  
Волошин молившийся за всех за красных и за белых но  
сейчас это не работает так  
моя мама в 2014-м ещё жалела беркутовцев их ведь  
бедных поставили туда у них служба

когда началась война мой папа пожалел Беларусь сказал  
вот её подставили втянули в войну  
мой папа мечтал уехать в Беларусь работать на заводе нет  
не мечтал конечно на самом деле он не умеет работать на заводе  
и ремонтировать что-то  
наверное это была мечта о молодости о семидесятых  
о песнях разных там косил Ясь конюшину  
я их слушала по радио в 80-х у дедушки всегда работала  
радиола  
но в 80-х это уже казалось анахронизмом  
прочитала рассказ про манную кашу и подумала  
действительно что будет если вылить с пятого этажа тарелку  
манной каши  
у нас под окнами вроде никто не гулял особо  
потом я читала книгу изд-ва Academia публицистика  
Гейне о пребывании в Париже и о короле Луи Филиппе  
потом эта книга куда-то исчезла мама говорит что  
дедушка наверное её продал  
так же как Тарле, Лескова 1904-го года, Данте  
мама говорит что он всё продал а это ведь бабушка  
покупала  
мир стирают с лица земли я мне жаль эту книгу Гейне  
говорю надо было тогда её сразу забрать себе

\* \* \*

я зарывалась в книги в кинематограф в работу в стихи  
лишь бы ничего не знать о реальной жизни  
а толку в итоге всё равно оказалась в Берлине  
раньше в Берлине были Набоков Ходасевич Цветаева  
Андрей Белый я читала об этом в книгах  
читала про Курфюрстендамм где все гуляли каждое утро  
здоровались друг с другом  
собирались в кафе в котором сейчас пиццерия  
если ты интересуешься политикой она рано или поздно  
заинтересуется тобой вот так и получилось  
я в Берлине с букридером в моей комнате в Киеве очень  
много книг

среди них книги тех кто жил сто лет назад в Берлине  
надеясь что советская власть скоро рухнет и они вернуться  
из заката Европы  
в свою европейскую Азию ожидая новый рассвет  
нет новых рассветов не случается здесь где бы ты ни был  
нужно просыпаться утром завтракать ходить на прогулку  
дышать свежим воздухом убеждать себя что всё пройдёт  
и это тоже  
зная как прошли эти сто лет убеждать себя всё сложнее  
со времён тех прогулок на Курфюрстендамм каждое утро  
потому что нужно здоровье и свежий воздух чтобы  
вернуться домой

\* \* \*

что свобода не помнить отчество у тирана теперь никак  
не забыть его наверное каждый тиран добивается этой цели  
чтобы помнили те которые уцелели чтобы жили в страхе  
молчания речь отнимают по капле  
снимали со стен дедовские именные шапки да сабли  
веря что после войны всегда наступает мир а как же иначе  
оттепель при которой имя тирана кажется значит  
меньше и можно даже забыть его иногда обсудить  
погоду виды на урожай  
но потом в тёмном переулке финкой под горлом колетса  
вспоминай  
нет страх не изжить ничем война разродится не миром а  
новой войною  
где бы ты ни был на этой шкале война и мир где я  
ничего не стою  
между собою знак равенства ставят пулей одною  
что свобода не помнить имён даже собственное нужды в  
нём  
если спросят потом да с пристрастием в общем-то  
вспомним  
мы наверное мир он прекрасен в нём боль и расплата  
и всё время куда-то бежать всё время бежать куда-то

названия странных станций в странах чужих на языке  
вращая  
знание вечного побега в памяти не умеща  
только радость узнавания страха пуще  
и недопитым оставлять ничего не увидеть в гуще

\* \* \*

мы ещё не ответили на вопрос можно ли писать стихи  
после Бучи  
когда был вирус видела комменты нет сейчас не до  
стихов максимально непоэтическое время  
когда может быть время для стихов может быть его  
никогда не было или оно всегда просто незаметно  
два года назад мы не знали про бомбы которые будут  
взрываться рядом с нашим домом боялись выйти из дома  
потому что кругом микробы  
но если ты дома это не значит что в твой дом не  
попадёт бомба  
когда мы играли в школе в морской бой и то легче  
было угадать куда попадёт бомба  
мы стояли возле бомбоубежища они взрывались где-  
то рядом я помню это бомбоубежище в нашей школе было  
примерно такое же все эти постройки 80-х  
тогда нам говорили что в нашем районе никогда не  
будет зелёных парков потому что корни деревьев достигнут  
песка больше расти не будут  
тогда нам не сказали что в нашем районе будут  
взрываться бомбы и я буду стоять возле бомбоубежища  
вспоминать марлевые повязки  
которые мы шили для репетиции войны на уроке труда

\* \* \*

теперь я понимаю фразу «после Освенцима нельзя  
писать стихи» нет мы не были там мы приехали в Европу в  
удобной машине мы живём в коттедже с видом на поле но  
стихи писать больше нельзя они ничего не отражают

этот ужас больше чем мы  
тот кто выжил и не утратил дар речи наверное написал  
бы их настоящие стихи о том что увидел  
нет это не был бы «Ад» Данте не отсылки к истории и  
мировой культуре  
я не знаю что это были бы за стихи я их не представляю  
в школе нам говорили на уроках информатики  
что человек использует только десять процентов мозга и  
неизвестно на что способны остальные девяносто процентов  
теперь я вижу на что способен человеческий мозг на  
войну

Дмитрий Драгилёв

## Пятый календарь Хуучина Зальтая

(Из романа «Некоронованные»)

Табличка, желтевшая на сизом шесте, как в сером небе, заключила в прямоугольник слово Basdorf. Возьмём на рассмотрение. Дорф сиречь село. Эта деревня была басовой. Или базовой. Базисной. Ведь одну «с» пропустили, точнее — забыли пропустить через железнодорожную стрелку между «а» и «о», дабы «с» не озвончалась. Купол над дорогой из тополиных ветвей. Абсолютное поле. А не новозеландский мыс в крупном морском заказнике, похожий на старую отбивную, с высоты полёта дрона, конечно. «Святылище Кермадек». Переезд без шлагбаума, предупреждающих фонарей, белолунных. Даже белого треугольника с красным кантом и силуэтом паровоза нет нигде, знака в форме Андреевского креста, будки путевого обходчика, поста с диспетчерской сигнализацией... Единственный замеченный нами направляющий столбик обмотан пряжей и похож на разноцветную гетру — вязаное граффити. Чтобы ощущение акрила и уюта вместо прежнего креазота и сигнальных полос. И не поезда внезапного, а подозрительно-дежурного вопроса ждём:

— Во коммен зи хер? Откуда вы прибыли?

Классический гостеприимный возглас в адрес усталых путников? Суровый или сердечный? «Фигушки», — как говорила корова в мультфильме. Нет, это предательский акцент, вываливающийся и четверть века спустя, будто ящик из перекопшенной тумбы, провоцирует любознательных на вопрос. Хотя сейчас спрашивают реже. Уже попривыкли, что народ движется, соревнуясь с литосферными плитами. Глобалистская тектоника всему причиной. Теперь можно в ответ тоже с глубинным прищуром и посвистом:

— Знаете что, идите нахер.

За годы преткновения, томления вокруг языка родного, появляется желание послать всех «нах» и совершить райзе нах Айзенах.

Eisenach — Reise nach. Их райзе нах Айзенах. Это у нас просто «нах», а здесь... Впрочем, так не ответишь. Отведёшь глаза, начнёшь шарить по дырявым мешкам аргументов, запасникам личных табличек (думал, что не понадобятся), как будто чуть-чуть скукожась, оправдываясь, стараясь избежать пущего неудобства. Почему наши папаши плохи — не позаботились оставить в наследство обещанное светлое будущее. Не в пример плясунам последних тридцати десятков лет, сплававшим, точнее — устроившим отпрысков поближе к Пикадилли и Пляс де ля Конкорд. Почему не все, кто торопится выйти за, — шлюхи и шалавы. Прыгающие в чужие постели с криком «да осчастливятся телеса честного немецкого обывателя». Почему не все шлюзы открыты, но шалаши больше не Кермадек, не святы и, видимо, не щедрот, ведь от щедрот не едут, но дарят, и отнюдь не себя, драгоценного. А мы, выходит, драпали за лучшим куском? Благодаря тем евреям, которых когда-то под нож, под палаш. Или немцам, коих, наоборот, в своё время в Екатеринштадт бросить позвали. Ах, вот оно что! Да, нам иначе бежалось, чем теперь с Украины.

— Как пройти в город? — спросили мы у первого встречного, обнаружив, что вокзал находится на отшибе, а мобильник мышей не ловит, нет приёма.

— Обратитесь к водителю, — безучастно промолвил встречный. Он сидел на металлической скамье автобусной остановки.

Водитель был суров.

— В центр не еду, но довезу до сберкассы, — буркнул тот, как нечто само собой разумеющееся, и, уловив наше замешательство, добавил: — Посторонитесь.

Мы мешали ему тронуться.

— Надо заглянуть в зал ожидания, — предположил я, — там наверняка есть карта, на стенде или на стене, план города.

Привокзальная площадь производила впечатление сложной местности: её перегородили временными ленточками и препятствиями прочими. Поставили две будки — одну для коронавирусных тестов, другую — для продажи мороженого. Поэтому мы прошли на перрон и попытались оттуда проникнуть

в здание. Почти барочная дверь с блестящей ручкой, явно новенькая, подобие «французского окна» с пилястрами, оказалась закрытой, несмотря на людей внутри. Пожилой мужчина махнул нам, сделав круговое движение запястьем.

Мы двинулись в обход. С тыльной стороны (хотя что для вокзала является тылом?) войти удалось. Наши украинские подопечные предпочли задержаться у будки с мороженым. Тот же самый мужчина, только что объяснявший, как составить ему компанию, пререкался через открытое окно с работницей станции.

— Почему эта дверь заперта? — вопрошал он.

— Потому что вокзал больше не принадлежит железной дороге.

— Как не принадлежит?

— Так. Продан.

«Гульдов зяблик!» — ругнулся я и стал оглядываться по сторонам.

А, может быть, ворона. Или цхогунок. Чистенько, свежий ремонт. Нет даже граффити, не то что надписей из трёх букв. Периметр персикового оттенка.

«Дорогая, — мне захотелось обратиться к подруге — очень желаю краткости, ты хотя бы сочетания двух литер не видишь, случайно?» Этот вопрос я задал мысленно, поскольку подруга была рядом, однако искомая вывеска обнаружилась ещё быстрее. Столь же мысленно я продолжил, подойдя к укромной кабинке, из которой кто-то никак не мог выбраться.

«Успели мы с тобой отдохнуть — и на сапожок съездить, и в Галлию цизальпинскую. Невзирая на мировую перезагрузку и дебоши в разных местах. Делу время, на новый час — новые хлопоты», — подумалось мне.

В кабинке не торопились. Я нацепил наушники и, прислонившись к стене в маленьком коридорчике, стал слушать уже надиктованный набросок.

«А знаешь, где раньше прятались кияне во дни потрясений? Доктор Пауст, Константин Георгиевич Паустовский, знал это. А помнишь, где есть — наверное, пока имеются — одновременно Казбек и Сайгон, район и место злачное? Ну, да, в

слободе Цхогунок, что раскинулась вокруг барской усадьбы. О ней Марианна Лопухина, нераспиаренная художница, оставила восемь десятков работ, сделанных сухой акварелью... Зарисовки с чадами и домочадцами, бежавшими после семнадцатого. Разве что опричь байстрюков, вечно оседлых, рождавшихся до того на протяжении полувека у местных девок стараниями резвого и любвеобильного дяди, Николая Васильича, предводителя уездного дворянства. Если не считать Варвару, Маню и Нину... Впрочем... Никто из нас не свидетель, и не Фадинар, пальцы загигать незачем... Вот только вращаются все персонажи на хулиганском или хули-цзинском, нет, хуучин-зальтаевском поворотном круге, накладном, модульном. Сие и есть магический календарь. Давай ткнём в него наугад, повернём, назад перелистаем. Пусть работает как Хи Укы Уенук, пардон, переводчик. Согласно тевтонской раскладке клавиатуры. Точнее сообразно порыву написать слово Übersetzer — сиречь толмач — при русской раскладке. Или пуцай послужит петлей железнодорожного веерного депо. Разве ведала, допустим, та же Лопухина в приснопамятную Первую русскую о том, какой выпадет жребий, куда жизнь занесёт дюжину лет спустя? Когда вся семья укрывалась на кухне в ожидании вестей как раз о стачке путейцев — той самой, в канун Манифеста. Будто забастовка сулит им бомбы и пули. Но что ещё мог предвещать бунт? Только недоброе. В декабре девятьсот пятого царь снарядил армейские подразделения, дабы разблокировать узловую станцию Конотоп. А в затерянной, полузабытой слободе, тремястами тридцатью верстами южнее, двумя месяцами раньше, чтобы себя как-то занять, отвлечь от дурных мыслей, Таисия сидела над шитьём (или, может быть, гетры вязала), читала письма. Варя, дочь дяди Коли, внебрачная, тоже ловко орудовала ниткой, но уже возясь с закрутками, соленьями-вареньями. Продолжал священнодействовать над блюдами повар Ваня, играл музыкант в польской кавярне, по-прежнему торговали тканями в еврейской лавке. Именем успешно управлял немец Андрей Губер, сын первого переводчика „Фауста“ на русский язык, внук лютеранского пастора, прибывшего когда-то в Екатеринштадт по вызывной грамоте из России. Вызывной-взрывной. Млад-

ший сын Губера — Борис, станет поэтом, напишет книгу „Шарашкина контора“ ещё в год смерти Ленина. Будет репрессирован как завсегдатай салона Хаютиной — жены наркома Ежова. А старшего новая власть произведёт в академики, сделает историком-востоковедом с мировым именем. Был ещё кузен у двух братьев. Тот поможет молодой Ирине Антоновой после войны вывозить в Москву артефакты из разбитого Рейха.

Что ещё? Мелькала в усадьбе графиня Ливен. Могла ли она предположить, что в Берлине тысяча девятьсот двадцать девятого года некий безвестный баритон будет записываться на граммофонные пластинки под её же фамилией? То ли Ливен, то ли, впрочем, Леви. И окажутся те пластинки звёздным часом русского танго. Знал ли, наконец, композитор Любовский, Леонид Зиновьевич, родившийся в полверсте от имения за каких-то четыре месяца до ареста Бориса Губера, танго не сочинявший, зато подаривший миру оперу „Незнайка в Солнечном городе“ и Passionsmusik (для трубы, тромбона, органа и ударных инструментов), про новоиспечённый коронавирус и где прятаться от него? Да ладно коронавирус. Нынче летят ракеты над городком, в котором когда-то, по Паустовскому, было „тихо и пусто“. Ведь банду Григорьева изгнал отряд самообороны. В ближайший лес ушёл отряд партизанский в сентябре сорок первого. И хотя в начале ноября сорок третьего в бывшем имении действовал „фронтной командный пост“ вермахта, уже через полтора месяца из траншеи навстречу наступающему батальону русских немецкие солдаты выскакивали лишь после того, как старший по званию кричал, забыв дежурный язык приказов. Вопли офицера „вверх, вверх!“ совпадали с запыхавшимся прусским вариантом „ура, да здравствует!“. Выпрыгнув изо рва, увидел тот офицер, растерявший алгол армейский, ротного Красной Армии и метнул гранату в гвардии лейтенанта. Восемнадцатилетний рязанский миномётчик закрыл командира своим телом. В донесениях немцев читаем: „Из района противник выступил с мощными силами“...

Ах, Борис Леонидович, жизни ль нам хотелось слаще!  
Ах, Иосиф Александрович, дело не в том, с кем курицу из борща грызть. Давайте, положи руку на сердце. Может быть, острых

ощущений алкали-жаждали? Как удобны были недавние ладушки! Одним — купаться в какой-нибудь роскоши и иже с нею. Другим — в бенгальских огнях соцсетей. Третьим — в беспечном праздновании торжества, добытого страшной ценой, так кровушкой пращуров пропитавшегося, что больно глаза поднять. Как нелепо закончилась радостная мишура, обнажив полную брэнность. Болезнь есть? Есть. Заговором она порождена или не заговором, суть лихорадки от этого не меняется. Как теперь пройти по главной улице с портретами на девятое? В строю черенков с незабытыми фотографиями вместо полотен на тулейках. Как устроить поварской курс на дому, выкатив в инсте цены, глазные белки и губки накаченные? А ведь сколько наковыривалось изюма! Да что там изюм, сколько открывалось до надрыва чудных мест на огромной карте империи. Как окошек в календаре. Спуск Васильевский, спуск Андреевский. Зелёный Домик, Покровская экономия. Кукушкина горка, Пулемётная горка. Но даже те, кому дано было забыть... латышский „кукуккалнс“, к примеру (прошу не путать с „куклуксклан“), страстно хотели, чтобы „наш двадцать первый“ оказался... другим. Посередобольнее. Поблагодароднее. Поделикатнее. Помудрее.

Однако ежели тестостерон зашкаливает, он попадает в запах всходящего теста, не так ли? Напоминая о пепле отца Тиля. Хотя Уленшпигель здесь вообще ни при чём. Это дух качалок имени Шварцнеггера-Сталлоне-Сигала-Ван-Дамма плохо выветривается. Росли как пшана, псы дворовые. Культ сильного. Тут уже не пепел отца и не череп королевского скомороха, не рокот космодрома (то же мне мечта, подумашь!) и не сентиментально-посконная трава в том самом дворе. А, скажем, Твардох, польский автор, — вот кто, аки ворон, чуял новый кровавый крупец и жаркое крошево, тайный ротор календаря, казалось, давно заржавевший, с зубцами, только ждущими момента, когда бы открыть сезонный буфет: пасленовые из полного бурлеска, прямо с зольника. Послушал бы лучше Куценко. Не актёра, гравёра, жившего недалеко от усадьбы. У него правая рука ещё с финской войны не двигалась. И вообще, собственно говоря, почему Клааса недостаточно? Он же как классика отстоялся.

А Иоганн Себастьян Бах? А Александр фон Гумбольдт? Разве может кто-нибудь посягнуть на Баха? Гораздо проблематичнее всё, что пришло потом: спорный Винниченко, спорный Раковский, спорный Рыков, спорный Штокхаузен, спорные Хайдегер, Фейхтвангер, Юнгер, Фуртвенглер, спорный Кейдж. „Чем лучше поэт П.А. других современных русских поэтов?“ — спрашивал университетский профессор в лесах гевельских, размышляя над тем, приглашать ли П.А., или П.Д. на гастроли, а может быть, вообще привычного Евтушенко, старого, доброго. Дурак он был, профессор. П.А. писал о фантомной памяти, о руке императора, о сомнамбулизме. Как в воду глядел. Страна развалилась, многое отсекали. Берём пример с сомнамбула. Готовы, аки твой ледокол „Челюскин“, стать под загрузку. Меняем Маркса на Маска. Манок „без удобств“ играет против знатоков. Чего изволите? Ставим на что? На рынок „со всеми уродствами“ (порядок слов произвольный) или какую-нибудь дополнительную шелуху, картофельную кожуру для укрепления национального духа. Может, мощный Илон шьёт планете виртуального двойника? Память которого образуется за счёт фантомной боли оригинала? Планета причиняет себе боль, чей объём должен увеличивать энергию цифрового клона. Занятно. Реально ли по фантомной памяти восстановить тело почившей державы и пересадить его в новое государство? Но очертания державы не замечая в перископ, ловите пеленг в струнах ржавых, лелея собственный заскок. Когда метафора в начале, и время бьёт в свои кастрюли, здесь варят кашу для печали, какой не знал последний Рюрик. Стихи девяностых. Вот тут-то и возникает снова глупый профессорский вопрос, однако он уже не кажется таким позорным и выглядит даже несправедливым. Чем очередной заплечный извод истории, торбы неписаной, лучше иных своих современниц? Куда тащим её? Чем атаман Семёнов краше атамана Зелёного? Уж лучше Филлдор Зелёный, дежурный по кораблю. Чего ради строить новый исторический пантеон? Не стоит ли его, кумиرونскательство, складень, псевдоиконостас этот, как-то иначе компоновать, купировать, обнулить. Как их там всех — Бидно, Тухай, Телый-Шоциопуй, Порошков-Сечевых и Коробейник... Желаете ересь № X? Уверены? Даром что ли

спрашивал вождь краснокожих: „А зачем она вам? Обманывать народ?“ Или в цивилизацию вступить подсобит? Неужели нельзя навроде послевоенной Германии, без всяких там кумиров да идолов... Давайте присягнем Баху. Лёгкая песня птицелова с Мартой, которой не надо плакать, но можно оказаться женой садовника. Цветовода, а не шефа Гестапо...

...Ах, кабы не было зимы... Так ведь нашим взвешенная мысль — дребедень, подавай взвинченную доблесть. Верёвочную лестницу в небо, Карла Иеронима фон вместо Мэрион Диксон, взгляд в никуда — кажется, так однажды резонно заметил кучер Теодора Фонтане своему хозяину во время поисков почвы. Ведь даже признаваться в любви Отчеству мелко, присягать на любовь, увлекаться письмами с вокзала ЗОО, мифами, легко приспособленными к развенчанию. Русские берёзки, дубы немецкие. Конечно, с Березовскими тоже всё не вполне ясно, и со старинными, и с современными, будь то композитор Максим или Борис Абрамович. Хиукыуенук Хоботов разъяснил бы, кто из них сам того, а кого столкнули. Лбами ли, с пьедестала ли.

Ещё недавно немцы готовы были выделить деньги, лишь бы избежать нового поля брани, и видели в этом геройство, но, тайне ведаясь на очередные слухи об экспансии варваров, надеялись на скорейшую синхронизацию Востока дремучего с возвышенным Абендландом. Утопия, абсурд? Да и так ли уж Абендланд возвышен. Возомнили себе. Землица вечерняя. На самом деле синхронизировать можно всё. Не только гаджеты и девайсы...»

Я выключил запись. На канитель — текст из наушников и оправку, отправку естественных нужд — ушло энное время. Подруга уже ждала в коридорчике, однако смотрела куда-то в сторону.

— ...Услышь меня, хорошая. И извини. Кратко не получилось.

— Уже? Неужели?

— Уже. Мне прямо неловко.

Пришлось потупиться. Цхогунок ты мой, цхогунок, зяблик гульдов. Впору разве что хохотнуть. Торчат возле туалета,

куда уж тупее. Тупо расходую драгоценное время. Никому не нужный текст. На аудиокнигу не тянет, слишком много информации, слишком сжата на малом пространстве, да и сюжет отсутствует. Сооружать радиопостановку? Так кому она в помощь? Какому лешему на пользу заметки о былых и полубезвестных реальных персонажах или героях вымышленных, но от этого не менее посторонних, о ничтожных, пустяковых фактах и собирательных образах, вполне чужих. Однако рассуждать и подбирать доводы некогда, ведь подруга включается в разговор:

— Услышала. Забыл, с кем имеешь дело? Зовсім забудь? Девушка-телепатка, если что, не хухры, мысли читаю. А ты всё свои цепочки выстраиваешь, плотные как сэндвичи. Даже когда сидишь на горшке. Свалка мыслей. Сноски нужны. Легенда карты. Чужаку пробиться — keine Chance. Да только зря, потому что есть у меня ещё в запасе пара сложных рефлексов, — спутница согнула пальцы, суставы хрустнули под напористо протянутым словом «есть». — Ты пошёл в туалет, и мне захотелось. Параллельно с тобой. А на этом странном вокзале наблюдается только один WC. Почти приготовилась искать кустик, ёлочку, или как это будет на мове, ялинку-смереку, но, подумав про местных жителей и про тех, кого мы сюда привезли... — Она скосила глаза в сторону привокзальной площади, где наши ведомые, обзаведясь мороженым, беседовали друг с другом. — Тебе смешно, а я чуть не... Это к вопросу о синхронизации.

— Интересный у тебя нарратив, — сказал я ей.

— Почему у меня?

— Так твоя же трактовка? Сядь со мною рядом.

— И что плохого? Впрочем... Некоторые теперь и по нужде сам-друг не сядут. И вообще, всё уже загажено, — в любимом голосе проскользнула отчаянная, но тихая категоричность. Игривый тембр исчез, темп увеличился. Шёпот скороговоркой: — В ту войну немецким крестьянкам «правительство выделяло» угнанных цвангсарбайтеров, шестьдесят лет спустя наши добровольно ломались в Au pair, шеренгами нанимались, теперь вот новая беда. Смотри, что твой приятель на фб пишет: «Конечно, иногда и взрыв — приключение. И повод. Хотелось на Запад, а соседи — следом. Все побежали, и я побежал. Или просто

паника. А народ разный. У кого-то телефоны в стразах и даже дружки в трениках. Выясняют, где накладные ногти забачать можно. Маникюрный салон открыть хотят. Ещё попался дорогуший лендровер с украинскими номерами. Из него вываливают товарищи восточной наружности. И говорят на непонятном языке. Эти, видимо, под шумок».

— Никак сеть нашлась? — Внутри меня что-то раскалилось, заклокотало.

— Почему же? Интернетом не пахнет. Раньше увидела. Считай скриншот.

— Ну коллеге стопроцентно повезло! — Я развёл руками, потом попытался забрать у подруги оставленную под присмотр поклажу. — Давай быстрее, нас люди ждут. Я и сам, видишь, как всегда, долог.

— Быстрее? Повезло?

Кажется, она была удивлена, моя спутница. И не готова. Я не знал, негодовать ли:

— Повезло именно таких отыскать! Точнее — встретить. Посмотри, у меня в полученных месседжах совсем другое: «Мы не можем бросить своих родных, они уже старые, брат после аварии, которая случилась в Польше год назад, автобус перевернулся, 5 человек погибло, во всех новостях показывали. Был в тяжело больных, инвалид второй группы сейчас. Бабушке — 95. Куда мне ехать?»

Усомнившись, что убедителен, я приблизил экран к её лицу.

— Это что? — насторожилась подруга.

— Старая знакомая пишет. Оттуда. Из города Цхогунок. Люди не в стразах и трениках, а в ужасе. Представь себе пастернаковский Ирпень под обстрелом. Пастернак там когда-то влюбился в жену Нейгауза. Представь себе Киев Паустовского. Знаю, не можешь. Тогда вообрази четыре пригородных поезда, четыре дизеля, сцепленных в один, окна залеплены пеной. Так до кордона и добிரались.

— Кто? — звякнуло напряжённое любопытство.

— Как кто? Вот они, — я кивнул в сторону будки с мороженым. — Люди брали билеты до Берлина, а им выдавали до

города на букву «ж». Жепин. Правда, бесплатные. Из силезского Жепина поезд следовал дальше на франкфуртский Одер. Но лишь для тех, у кого заплачено было. Значит, двойные правила, и самые продвинутые раскошелились. Зато остальным — пересадка и автобусы в час ночи.

В глазах подруги всё ещё читался вопрос.

— Ах, да, согласно гугл-мопсу — гугл-мопс — это такое животное, оно сейчас спит — Жепин крепится железнодорожным узлом на пересечении линий Бреслау-Штеттин и ещё одной, из Познани в Дойчланд, — вальяжно добавил я, чертя линии в воздухе, вместо того чтобы говорить как можно суше, предметнее.

Спутница моя вздохнула.

— Тут важно успеть до первой зорьки. Бомбить всегда с утра начинают. Панталыкин, дружок, с которым мы из Кройц-пфуля в поход идти думали, ночами не спал, прикидывал, когда начнут: 16-го, 23-го... А теперь ссылается на Хлебникова, председателя земного шара, его «Доски судьбы».

— И на какие вещи конкретно?

— Да что-то там сказано про основной закон времени, о разных повторяющихся штуках, вооружённых народах, особом понимании нравственности...

Не к месту, но ко злобе дня мне хотелось сказать что-то очень умное. Цитировать Велимира? Опять поплёлся на мысленные склады, нашёл карманный оракул:

«У Целана круглосуточно пили чёрное молоко рассвета, — думал я. — У Паустовского по ночам пили чай, набирая воду в течение часа. Плавающие пески, исполински ржавое солнце, дымившее весь день над лесами горелыми, которые автор видел сам и герою лишь поручил. „Горячая мышь перевешивается через собственную тень и летит в абсолютное отсутствие“ — у Парщикова. У прозорливца Твардоха „норы, выпарапанные в твёрдой, сухой земле и прикрытые одеялами, и ползущие по ним зыбкие белые круги, отбрасываемые прожекторами“, их видел его „лирический герой“. И вот теперь ещё модный мем от Проханова — народ-хомяк, народ-бурундук, которому легко будет к корешкам подключиться. Припадая к традициям».

И мой сурок со мною. Именно про хомяка и доложил подруге.

— А я смотрю, кто у меня луковицы гладиолусов во дворе выкопал! Аккуратно так. Решила, зверь какой... — Подруга на секунду замолчала и провозгласила: — Но, тем не менее — всё хорошо.

— Хорошо?!

— Конечно! Беженцев ждут, волонтеры по сорок часов без продыху: встречают, помогают с маршрутом, успокаивают, определяют в то или иное жильё. И ты теперь тоже. — Она по-прежнему говорила чуть слышно, но уже более раздумчиво, подняв глаза на единственный уцелевший стенд.

Вместо карты города в этой витрине красовались афиши. Может быть, поэтому подруга сказала:

— Берлинским Театром имени Алессандро дель Фине по-прежнему бодро заведует Минерва Мэйфлауэр из «Гудзонского ястреба». По радио по-прежнему выступают или анонсируются «Свингующие солонгой»...

Я снисходительно покачал головой:

— Ты знаешь устройство атома? Помнишь, как это выглядит?

— Ну вроде.

— А устройство галактики? Солнечной системы?

— Конечно.

— Сходства не замечаешь?

— Что за банальная мысль, сходство налицо.

— А ты не допускаешь, что все мы — атомы Бога? И в Берлине всего лишь посягали на право чувствовать хоть какую-то причастность чину гавелян, восставших из небытия. Наше зыбкое право быть здесь. Будто они нам вручили переходящее. В лесах по-над Шпрее, где вода цвета огуречного рассола.

— Да ладно тебе, с былинными гавелянами. Могу опять сослаться на приятеля твоего.

— Вы с ним общаетесь, фройляйн?

— Нет, это он сам сутками в соцсетях сидит. Как истукан. Ты не заметил? Пишет, дескать, лучше война, чем очередной виток пандемии, которая... подожди, сейчас покажу... вот: при-

думывалось затем, чтобы народы продемонстрировали свою лояльность правительствам. Тем паче, что войну кому-то давно хотелось развязать. Присматривали только подходящий бикфордов шнур и кандидатов на вылет. А дразнили-то как! Зато теперь, похоже, подписан указ, как он там выразился, о несовместимости государств. Новая фаза независимости. Кое-кто считает, что индальгенцию получил. Паушальную. Лицензию на ненависть. Ну и цены на бензин можно поднять, на еду.

«Волнительная трактовка», — ухмыльнулся я, но виду не подал. Обнажает смыслы всех процессов. Хурма, хурма, где ваша сладость. Диалог превращался в хурму, затягивал, обматывал бесконечной, в меру липкой, медленной лентой. Зачем мы всё ещё здесь, в этом обморочном здании. Выморочном. Шарим глазами по стенам, когда и так уже всё понятно. Что делают здесь другие пассажиры? Почему-то вспомнил свою двадцатилетней давности поездку на Азовское море — через Мелитополь и ДнепрогЭС. Днём — гнусаво-манерный призыв офени — «Мороженое, замороженные соки», то жалобно, то гордо разносившийся по всему пляжу. Сколопендр, спускавшихся по стенам с подшивных конструкций. На сон грядущий. В комнате приходилось с силикатным кирпичом дежурить, чтобы милое насекомое куда-нибудь не заползло. Вспомнил про птичек, живущих в оставленных норах, издающих звук «чик-чэк-чэк». Поселятся ли они сейчас в чужих берлогах брошенных? Смогут ли выглядывать из календарных ячеек-кармашков на манер кукушек? Вместо орудий, их дыма, басового хода, наиболее распространённым вектором которого является нисходящий — элемент хроматических ламентаций по малым секундам. Бах, Месса си минор.

Вот, привёз доставшихся мне беженцев в Баздорф, где нашлись аж две семьи, готовые их принять, — семьи смешанные, немецко-русские. Вопрос «откуда вестимо» уже почти не задаётся. И никакие дубовые чиновники Баумгольцы не чинят препятствий. Жильё — пожалуйста, разрешение на работу имеется. Хотя в зале ожидания ни объявлений, ни указателей. В приступе болтовни и рефлексии мне показалось, что стена, возле которого мы застряли, особый. Не жуткое окошко плохо

откалиброванного календаря, плачущее, что твоя дыба по вах-хабитам, с надписью «Их разыскивает», а всего-навсего скромное, безопасное: «Требуется попутчик». Основные приметы: белое пятно над глазом, рыжеватая грудь. *Saxicola*, не играющая на саксофоне. Схватить бы эту птицу за лапы и полететь в оливковые эдемы. Спросить бы часового мастера Нууца, чего он хочет. И из какого сора на самом деле ваял-клепал календарь свой. Коробка картонная, плоская, бонбоньерка будто, расположения отверстий намечены контурами. То рядами, то вразброс. Тридцать одно отверстие вырезается при помощи обычных канцелярских ножниц. Окошки — как и ошибки — открываются сами. Но мастер Нууц не ответит, а люди ждут.

— Назови мне уровень, на котором тебе объяснить? — вернулся я к разговору, — На уровне комментария, намека или секрета?

— На каком не обидно. Хотя нет. Нам с тобой совершенно некогда. В другой раз.

— Да, некогда, — спохватился я.

Между тем башка подсовывала странный ответ:

«Что делают ведущие спортивных репортажей? Кричат. От переизбытка эмоций? Чтобы слышали зрители на трибунах? Вопят ради вящего участия, из поколения в поколение. Из чёрных репродукторов когда-то они вопили так же истошно. Ничего не изменилось. А ведь это птичкам кричать положено. И их крик могли бы воспроизводить радары. Вместо блица, если превышаем скорость. Когда за флажки. Или если нет поста с диспетчерской сигнализацией... Грининг проходит по центру, потом бьёт по воротам. Попадает в окошко календаря. В силу вступил пятый месяцеслов Хуучина Зальтая. Механизм стрекочет. Ох, стрекочет вовсю. Некоторым фигурам пересадили фантомную память. Но любил же повторять мастер Нууц, что от болезненного проникновения образуется жемчуг. Да и поэт варил золото аки вулкан. Хватило бы серебряной изнанки, точнее — начинки, перламутра. И вообще будем считать, что на дворе неучтённая, двадцать пятая, чисто мнимая стража шлемоносного филимона, перепелятника и обыкновенного цхогунка». 

Екатерина Васильева

## Ключи к экономному лесу. Дальман и его миры — дальние, но близкие

Йонас-Филипп Дальман родился в 1969 году в Западном Берлине. Детство и юность в окружённом стеной городе, а также рассказы матери, ребёнком пережившей бомбардировку Кёнигсберга, обострили его внимание к хрупкости общественных конструкций и политических режимов, вызывающей у помещённого в них индивида чувство глобальной «бездомности». Возможно, это повлияло на его решение выбрать профессию архитектора. Однако ещё во время учёбы в Берлинском университете искусств Дальман понял, что постижение тайн зодчих прошлого через детальное копирование их шедевров на бумаге, плавно переходящее в собственные архитектурные фантазии, не сдерживаемые реалиями современной жизни, интересует его больше рационального проектирования. Это и привело его в итоге в литературу, дающую максимальную свободу творчества при минимальной зависимости от вещественного материала.

Широкой публике Дальман открылся благодаря своему дебютному роману «Ночек» (2011), написанному завораживающим, гипнотическим языком, составляющим, несмотря на «грандиозную вычурность» (как выразился один из рецензентов), безукоризненно прочный каркас для многослойной истории, объединяющей в себе влияния Достоевского, Кафки и Германа Гессе. Здесь уже заложена ситуация, сопровождающая автора во многих его произведениях: повествующее и действующее лица не совпадают друг с другом, являясь чем-то вроде идеологических антиподов и, парадоксальным образом, двойников. Так, безымянный рассказчик «Ночек» скрупулёзно фиксирует поступки заглавного героя, наблюдая за ним со стороны со смесью презрения и невольного восхищения, только для того, чтобы в итоге обнажить психологические и экзистенциальные бездны внутри самого себя.

Похожий приём «раздвоения личности» мы видим и в рассказе «В экономном лесу», вошедшем в опубликованный в 2019 году сборник «Молочная кожа дверей» (*Die milchfarbene Haut der Türen*). Кроме того, рассказ знакомит нас и с другой «фирменной» чертой авторского стиля, несомненно связанной с первой профессией Дальмана: вниманием к городскому пространству и архитектуре. При этом читателю отнюдь не стоит ожидать подробных описаний зданий или уличных схем. Коммуникация с городом происходит здесь на глубинном, метафорическом и одновременно почти чувственном уровне, провозирующем бесконечную цепочку ассоциаций.

То же касается и названия, на первый взгляд никак не связанного с рассказанной историей. Идея для него, по словам самого автора, пришла к нему, когда он листал старую книгу о железнодорожном моделизме. В разделе, озаглавленном «Трюк с экономным лесом» (*Der Trick mit dem Sparwald*), там объяснялись «экономные», то есть не требующие особых денежных затрат и усилий, способы имитации леса вокруг миниатюрного железнодорожного полотна, визуально дающие эффект правдоподобия. Думаю, что в этом названии один из ключей к пониманию текста. Но этот ключ, как и всегда у Дальмана, открывает не одну, а множество расположенных друг за другом дверей. 

Йонас-Филипп Дальман

## В экономном лесу

Перевод Екатерины Васильевой

Предноябрь — самое туманное время; даже птицы теряют бдительность и дюжинами попадают под колёса автомобилей, а старушки засыпают на парковых скамейках навсегда. Именно в это время я познакомился с Г. Он говорил меньше других, носил на спине котомку и выворачивал ступни наружу, когда приходилось подниматься по лестнице. Эх, на какие только лестницы мы тогда не взбирались, сквозь ватный снег, под сосульками величиной с органы трубы, с треском срывающимися вниз! Г. был всегда сосредоточен, следил за небом, жевал свой мякиш. Не знаю, сколько ему было лет, но на его медово-русой макушке уже проступали седые нити, а глаза глядели не слишком ясно. Хотя, возможно, причина тут крылась в выпивке, которую он, как и все мы, обожал. Нам это было нужно даже не за тем, чтобы взбодриться; мы просто хотели ступать чуть быстрее, чуть искуснее, когда на пути встречались замёрзшие пруды и лужи. Г. шёл и скользил по льду, он шёл и шагал вверх по лестнице, он шёл и падал наконец в свою «постель» возле кафедрального собора. Только он один имел право там спать и никто другой, его внушительная фигура исключала любые вторжения. Я проводил с ним много времени, не зная толком, почему; симпатии Г. у меня не вызывал, да и его фокусы — например умение играть на свистулке или добывать продовольствие у «оседлых» — мне не нравились. Я страдал от лютой зимы, и какое мне тогда было дело до Г., до этой громады, этой глыбы, этой скалы. Другие, однако, быстро сделали из нас приятелей, так сказать, дружков. Мы шили одну и ту же бодягу, кутались в одинаковые куртки и любили одну и ту же женщину — Иру, о которой ещё пойдёт речь, если мои заметки, которые меня и так порядком изматывают, вообще сдвинутся дальше этого вступления, ибо писать я уже отвык.

Мои пальцы холодны, а бумага, которую я добыл для этой цели, строптивая — хотя, возможно, дело всего лишь в моих мыслях, с которыми я не могу совладать и которые тащатся своим путём, как обычно. «Будь внимателен, Эж», — говорила мне мать, и тут же мои мысли ускользали куда-то вслед за скачущим по забору корольком или растекались как плевок, которым я удачно попал прямо в столешницу. А когда она давала мне затрещину, моё ухо звенело от боли, а рука в течение секунды хотела дать сдачи, я в который раз осознавал, что в этом мире мне не место. Да, я с самого начала был мальчиком для битья, наблюдателем, забившимся в угол, тем, кому ничего не удавалось и кто никак не мог взять слова, а должен был довольствоваться тем, чтобы смотреть, выжидать, уходить, спастись бегством — от зимы, от холода, от замёрзшей воды, от Иры, даже от Г., единственного, кто не прогонял меня, кто терпел меня рядом, когда солнце садилось над очерком крыш и мы готовились к ночи.

Первое время Г. ещё сохранял между нами солидную дистанцию: «Оставайся там», — бурчал он, когда я пытался приблизиться к нему более чем на десять метров, так что мне приходилось разбивать свой лагерь у соборной стены на один опорный столб дальше. Позже он стал допускать сближение, сначала на один метр, потом ещё на один, каждый раз с ворчанием, но в конце концов мне было дозволено устроиться прямо рядом с ним, у седьмого столба, там, где ветер сдерживается соседним домом и где мостовая не разрежена выбоинами с острыми краями, а, напротив, гладка и мягка, если только бульжник вообще может быть мягким, но ведь существуют же старые одеяла и драные перины, а также твёрдое намерение. В этом отношении, я имею в виду в том, что касается морали, Г. был строг. «Самое главное, — внушал он мне, и его правая бровь при этом поднималась, собираясь в завитушку, — самое главное — не рассматривать всё это, наши дни и ночи, как прогулку, шаромыжничество или братство бродяг. Ибо тот, кто считает себя бродягой, тот уже потерян, того просто растопчут, тот может радоваться, если он вообще кое-как перезимует в городе. Ты должен быть охотником, звероловом или, ещё лучше, покорителем гор, альпинистом. Такой довольствуется малым или вообще ничем, он спит и в

метель, и в мороз, его родная среда — не уютные норы низин, а вершины гор, он не хочет спускаться на землю, а стремится к небу, всё дальше и дальше наверх». Г. смотрел в затуманенное небо, накинув на плечи изъеденный молью мех, и на какое-то мгновение действительно становился похож на покорителя высот, разбившего палатку в опасном месте и давно забывшего, что там внизу, на равнине, уйдя с головой в собственные планы. Нет, я тогда ещё не подозревал о том, как высоки были вершины, о которых мечтал Г., о той мерке, которую он прикладывал к себе и миру; только позже мне стало ясно, что, хотя он спал под собором, не владел никаким имуществом и уже с незапамятных времён не имел женщины, Г. был требующим, напоминающим; тем, кто следует только своему собственному компасу, год за годом настраивая его всё строже, всё беспощаднее, так что в итоге его уже ничто не может удовлетворить. Г. умел ценить то, что без него осталось бы незамеченным, и дорожил этим. Он любил вещи, невидимые для других, и сортировал их по категориям, смысл которых никто не понимал. Он мог рассуждать о структуре почвы по краям луж, о трещинах на спичечной головке, о сколах на скорлупе птичьих яиц или о загибах на автобусном билете. Всё это, как становилось ясно из его рассказа, он изучил, причём изучил подробнее, чем кто-либо другой. У меня постоянно возникала мысль, что то, о чём распространяется Г., надо бы записать, изложить, чтобы ничего не потерялось, и, возможно, эти заметки и есть неудачное начало такого предприятия. Г. говорил о том, что он видел, что попадалось ему на глаза, без всякого восхищения, без экзальтации. Восторг был ему чужд, просто он умел ценить то, что не ценили другие, и это делало его богачом. В самом деле, на людей вокруг Г. смотрел без всякого самодовольства, почти с состраданием — не только на оседлых, которые в любом случае не брались в расчёт, но и на нас, «подвижных», населявших улицы и площади, хозяев города, повелителей и исполнителей, последних и первых, избранных и заклеимённых. «Вы же слепцы», — говорил в таких случаях Г., пожёвывая свой мякиш и поднимая взгляд к небу, и начинал свой доклад о полёте ласточек в июле или о силуэте облаков перед грозой, а я внимал его витиеватой, как меандр, речи,

радуясь тому, что меня избрали слушателем, и печалюсь, что все те богатства, которые он раскрывал передо мной, мне никогда не суждено увидеть, как видел их он, ибо я был и есть человек буквы, чеканщик слов, тот, кто может слушать, но не видеть, записывать, но не участвовать. «Не горюй, Эк, — говорил Г., когда замечал, что его лекция меня утомляла и навевала грусть, — ты просто книжный человек, такие тоже нужны». И он проводил рукой по своему коричневому меху, как будто хотел что-то стряхнуть, и говорил про стрекотание газовых фонарей над булыжниками мостовой или о набегающих на берег лодках, когда на озёрах уже становится холодно, и о знаках, оставляемых на каменной стене мхом и лишайником. «Кто способен их прочесть, — восклицал Г., — кто способен их прочесть и понять, тот не пропадёт в этом мире». И я соглашался с ним, и мы пили бодягу, но, когда ветер становился резче, а солнце садилось за крышами, меня охватывали смутнение и страх: переживу ли я ещё одну такую ночь, смогу ли я ещё хотя бы раз проснуться в этом стальном городе?

Только что я перечитал написанное. Это всё неудовлетворительно и мало что объясняет. Но я не стану начинать сначала, а просто буду двигаться дальше, как я всегда двигаюсь дальше и дальше по улицам. Г. ещё не знает, что я начал писать; не уверен, что он бы это одобрил. Хотя ему нравится слушать о том, как я писал и читал раньше, но ведь это истории из прошлого, из того времени, когда я ещё был оседлым. То, что я сегодня, сейчас, в эту самую минуту снова стал писакой, могло бы его обидеть, нет, я точно знаю, что так оно и будет. Поэтому и пишу от него втайне. Труда это не составляет, ведь тетрадка у меня маленькая, я засовываю её в щель каменной кладки на Соборной площади, а для моего пера (собственно говоря, это простой карандаш, который я затачиваю о стену) всегда можно найти какую-нибудь отговорку.

Сейчас ещё рано. Ни собор, ни площадь, ни сам Г. пока не проснулись, да и я пишу и думаю наполовину во сне, наполовину в тумане, а это значит, что нужно собраться, чтобы прояснилась голова. Раньше, когда учителя ещё следили за тем, что я писал, мне часто приходилось слышать от них настоятельные советы держаться ближе к сути вопроса, меньше

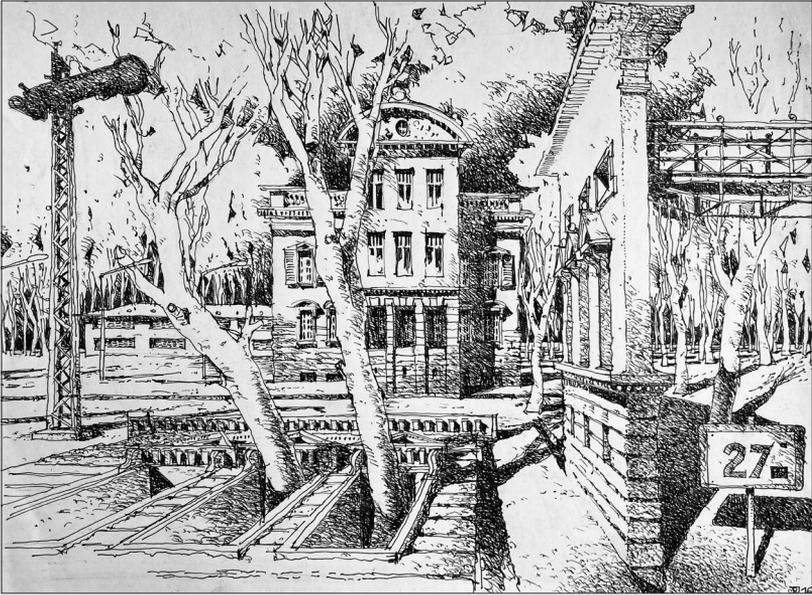
заниматься украшательством, выражаться яснее. Это всё правильные задачи, но что поделаешь, если мои мысли идут своим путём, точно так же как мои ноги по улице. Улица, улица. Едва ли кто-нибудь понимает, что я имею в виду, когда говорю о ней, по крайней мере оседлым этого не понять, а я исхожу из того, что оседлые меня тоже читают.

Улица для нас, подвижных, — это не место проживания, не адрес и не временное пристанище. Она — тело, дыхание, удар кулака. Мы сидим сгорбившись, чтобы поймать её дыхание, и нас бросает в дрожь от её любви. Мы домогаемся её тысячами шагов и брезгливо сплёвываем от её высокомерия. Мы прижимаем её к себе, чтобы вдохнуть грязь и темень, и отталкиваем её, потому что её сияние, её свет обольщают нас сверх меры. Мы всю жизнь стремимся к ней и хотим, чтобы она нас миновала, мы слышим, как она стонет и лепечет, и мы бежим от неё и ищем её в один и тот же день. Она нам мать, ребёнок и няня, постель, плот и котелок, хлеб, вино и кровь. Если она рухнет, рухнем и мы, но если она возвысится, мы возвысимся стократно. Мы управляем её снами и тянем вдоль её рук, её конечностей наши дерзкие песни, наши пугливые надежды, наши обманутые желания. Мы слушаем её плач в ночи и её глумливые куплеты по утрам; мы кормим её, когда она голодна, и мы поим её, когда она испытывает жажду. Мы утираем ей глаза, когда она плачет по нам, и укачиваем её, когда ей беспокойно и страшно. Она погоняет нас, питает нас, бьёт нас, кружит над нами и наказывает нас. Тому, кто обидит её, мы выцарапываем глаза, но того, кто её славит, мы избиваем до полусмерти, потому что его гимны слишком ничтожны для наших ушей. Мы не распространяемся о её дарах, её красоте или могуществе. Мы славим её нашим молчанием. Я боюсь, что меня не поймут, именно оседлые меня и не поймут. Но даже их, я ещё помню это, улица поражает, трогает, пробует на ощупь. Конечно, тут нельзя сравнивать, ведь для них улица — это не пещера, не квартира, не утроба, а образ, проход, перспектива. Они ходят по ней, прогуливаются туда и сюда, совершают моцион на её тротуарах, но они здесь только гости, визитёры. Её изгибы их ни к чему не обязывают. Виды, которые они коллекционируют, не смущают их покой. Они не знают улицы.

Г. заворочался, вот-вот проснётся. Значит, мы снова будем сидеть вместе за утренней бодягой, жевать наши мякиши и глядеть на площадь. А потом мы поднимемся, соберём свои пожитки и отправимся в путь вместе с другими «подвижными». Нет, наши вылазки — это не развлечение, не праздное занятие, не способ убить время. Они — правило, работа, долг. Мы творим пути и дороги под нашей пятой. Этот город давно бы угас без наших прикосновений, оставаясь, может быть, на месте, но как мертвец. Оседлые не знают, что это мы, мы держим на себе город, мы питаем его и даём опору. Они считают нас никчёмными (как часто нам приходится слышать о том, что мы ни на что не годимся!), но на самом деле это они — опухоль, грызущая город, давно перекрывшая бы ему воздух, если бы мы, подвижные, не поддерживали его искусственным дыханием. Как же мы снисходительны! Мы прощаем витринам их лоск. Мы закрываем глаза на выскобленные ступени и отполированные двери. Мы даже не глядим на все эти чистки, надравания и подметания, которыми оседлые с утра до вечера наполняют город. Мы прощаем им их автомойки, мусорные баки и пепельницы. Мы находим оправдание их цепям с навесными замками и запертым воротам. Мы не трогаем их жалюзи и ставни, кнопки их электрических звонков, латунные таблички и ручки дверей, леса штор и дебри антенн. Но как же нам обидно, когда они, идя по улице, из раза в раз замечают только блестящую мишуру бутиков, фальшивое сияние ювелиров, лицемерие аптек! Нет, оседлые не видят величественного трепета подёрнутых зеленью медных башен, чмокающих потуг голубей перед взлётом, мимолётного взгляда мёртвых окон в самом заднем дворе. Они глухи для голосов, доносящихся из чердачных люков и сточных труб, слепы для всполохов контейнеров на дальнем причале. Они не улавливают запах пыли под дождём и не чувствуют мягкость камня у фонтана. Если кто-то расскажет им о красоте выкинутых конфетных фантиков, о канделябровом блеске разбитых бутылок, того высмеют, оплюют, прогонят прочь. Так было всегда, так оно всегда и будет. Г. ворочается. Сейчас он поднимется. Сейчас он распрямится во весь рост.

Наступила весна, жаркая весна. Каждый день мы с Г. спускаемся в речную долину. На неё накатывает вода; торчащие наружу кроны деревьев похожи на кусты, водовороты щекочут моё ухо. В долине кипит жизнь; почти все «подвижные» собираются теперь там и сидят за камышами возле пастбищ, пока утки летают вокруг и пытаются схватить их клювом за волосы. Вода в реке чёрная. Мне не хочется на неё смотреть, но Г. нравится её масляный блеск.

За заброшенной скотобойней, там, где ржавеет стадо старых грузовиков, Г. сотворил нечто вызывающее зависть всех подвижных: логово, беседку, гнездо. У этой конструкции, сложенной из досок, нет крыши, но есть дверь и замок, а также ревнивый хозяин. Здесь, под жалящим солнцем, Г. отдаётся Ире, сюда он завлекает её каждый день. Их с Ирой крики пронзают насквозь заросли кустов, распугивают уток, возмущают зрителей, напирающих со всех сторон. Пока Г. и Ира делают своё дело, я сижу на крыше зернохранилища и смотрю вниз. Спина Г., жёлтая и широкая, двигается на фоне дощатой стены, а Ирины икры обхватывают его как клешни. Существует неписаное правило, по которому подвижные гудят и топают ногами, обходя эту беседку. Время от времени Г. бросает в их сторону ругательства, называет прихвостнями, сбродом, но всё-таки рокот и топот вдохновляют его на всё более глубокие и буйные толчки. Я вдыхаю ветер, долетающий с шоколадной фабрики, и закрываю глаза. Я не хочу видеть, как Г. овладевает Ирой, как она принимает и вкушает его. Г. силен и стоек, он может долго трудиться над Ирой. Долго может длиться это утро, долго солнце может вшиваться в землю и слепить толкущихся внизу зевак. Сегодня прекрасный день. 



*Илюстрация: Йонас-Филип Далъман*

Вероника Шмитт

## Христиан Гофман фон Гофмансвальдау (1616–1679)

Гофмансвальдау родился в Силезском городе Бреслау (современный Вроцлав) в аристократической семье. После окончания школы в Бреслау и гимназии в Гданьске он изучал юриспруденцию в Лейденском университете, параллельно посещая лекции на филологическом факультете. Проучившись тринадцать месяцев, Гофмансвальдау поехал путешествовать по Европе (1639–1641), побывал в Англии, Франции и Италии. В последующие годы он изучал зарубежную литературу, а также переводил с английского, итальянского и французского<sup>1</sup>. Однако в 1663 году Гофмансвальдау решил, что больше никогда не будет заниматься переводом, так как «эта кропотливая работа приносит больше хлопот, чем славы»<sup>2</sup>.

В 1643 году, женившись под напором отца, Гофмансвальдау написал около ста «Эпитафий в стихах». Через несколько лет он стал членом городского совета; эта должность отнимала много времени и сил, поэтому стихи удавалось писать только урывками в свободное время. Почти все его стихотворения распространялись в рукописях в кругу знакомых, и печатать их Гофмансвальдау не собирался.

Однако в 1662 году кто-то опубликовал его «Эпитафии» без ведома автора. Затем появилось контрафактное издание перевода «Верного пастуха» Гуарини (*Il pastor fido*), и Гофмансвальдау решил, что ему нужно самому подготовить собрание своих сочинений. Вероятно, его побудил к действию тот факт, что стихотворения были напечатаны с ошибками

---

<sup>1</sup> Гофмансвальдау переводил произведения Джозефа Холла, Джованни Франческо Бионди, Теофиля де Вю, Джованни Баттиста Гуарини.

<sup>2</sup> Цит. по: Lothar Noack. Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau (1616–1679): Leben und Werk. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1999. S. 252. (Здесь и далее в переводе В. Шмитт)

и пропусками. Впоследствии Гофмансвальдау отметил, что его произведения так часто переписывали и искажали, что он уже не узнаёт «[своих] собственных детей»<sup>3</sup>. Кроме того, некоторые из его остроумных «Эпитафий» могли оскорбить Габсбургов и католиков. Гофмансвальдау решил опубликовать свои сочинения, предварительно исключив или отредактировав произведения, способные повредить репутации председателя городского совета, под началом которого находилась, помимо всего прочего, система школьного образования города Бреслау.

За несколько недель до смерти Гофмансвальдау начал работу над изданием. Обширная часть предисловия представляет собой экскурс в историю итальянской, французской, испанской, английской, голландской и немецкой литературы. Гофмансвальдау упоминает, что некоторые «поэтические мелочи»<sup>4</sup> он в это издание не включил, так как они и так уже ходят по рукам. Его эротические стихотворения стали доступны широкому кругу читателей лишь в 1695 году в сборнике Бенъямина Нойкирха. Нойкирх назвал Гофмансвальдау «немецким Овидием», отметив, что он «продолжил итальянскую традицию и первым стал писать на галантный манер, ныне господствующий в Силезии»<sup>5</sup>.

Гофмансвальдау умер 18 апреля 1679 года — катаральное воспаление вызвало приступ душья — и так и не увидел свои сочинения напечатанными.

\* \* \*

В течение всей своей жизни Гофмансвальдау писал стихотворения, посвящённые знакомым и знаменующие важные события в жизни человека (*Gelegenheitsgedichte*); обычно такими событиями оказывались свадьбы и похороны. В первый период творчества, помимо упомянутых «Эпитафий», Гофмансвальдау

---

<sup>3</sup> (Hoffmann von Hoffmannswaldau, Christian;) C. H. V. H. An den geneigten Leser // Deutsche Übersetzungen und Gedichte. Breslau 1679, S. 2.

<sup>4</sup> Там же, S. 33.

<sup>5</sup> Herrn von Hoffmannswaldau und anderer Deutschen auserlesene und bißher ungedruckte Gedichte, Vorrede. Neudruck Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1961. Bd. 1, S. 13f.

сочинил лирические монологи библейских и исторических лиц — Марии Магдалены, Иова, Марка Порция Катона и др. К позднему периоду относится его наиболее обширное произведение «Геронические письма» — послания возлюбленных друг к другу, прообразом которых послужили «Героиды» Овидия. Гофмансвальдау написал двадцать восемь таких писем (от лица четырнадцати влюблённых пар), в сто александрийских стихов каждое.

Как и многие другие поэты эпохи барокко, Гофмансвальдау задавался вопросом о сущности мира и приходил к выводу, что это лишь «суета сует». Он сравнивает жизнь с маскарадом, фейерверком, напоминая, что удовольствия преходящи, поэтому нужно стремиться к небесам («Земные утехы»). В другом стихотворении Гофмансвальдау выражает ту же идею, прибегая к иным метафорам: мир — это «Уютный луг, поросший сорняками... / Могилы гниль и алебастр на ней». Следовательно, красота и привлекательность мира обманчива: под роскошной могилой скрываются гнилые останки, луг красив, но там растут только сорняки. Выйти из этого замкнутого круга можно всё тем же способом, поднявшись над бренным миром в небо, «где вечность обнимает красоту».

Нередко Гофмансвальдау переворачивает барочный мотив «всё хорошее преходяще» с ног на голову, напоминая о том, что и всё плохое тоже пройдёт. Таким оптимизмом проникнуто стихотворение «Призыв к веселью», которое впоследствии стало песней. Некоторые другие произведения Гофмансвальдау тоже были положены на музыку. «Утренняя песня», например, после публикации собрания сочинений вошла в сборник церковных песнопений, однако впоследствии была изъята, поскольку излишняя красочность слога отвлекала от содержания.

К стихотворениям о бренности бытия примыкает сонет «По случаю крушения церкви Св. Елизаветы»: человек возгордился и забыл о Боге, и Бог напомнил ему о том, что действительно важно. Этот сонет основан на реальных событиях: в 1649 году обрушилась часть церкви Св. Елизаветы в Бреслау. Скорее всего, это произошло потому, что во время

строительства склепа повредился фундамент церкви, но жители города восприняли крушение как знак свыше.

Обширную группу стихотворений Гофмансвальдау составляют послания к возлюбленным, написанные под влиянием Петрарки и Джамбаттиста Марино. Интересно послание к Лауретте: оно начинается в стиле Петрарки, затем переходит во фривольное описание акта любви и его последствий и заканчивается на *pointe* в стиле Марино («...кто нашёл предлог, / Чтоб умереть меж нежных ног, / Тот знает толк в красивой смерти»). Стихотворение «Неужто рот твой тёмно-алый» построено на остроумных и неожиданных метафорах (*conchetto*). Корабль, приплывающий в гавань, традиционно ассоциируется с человеком, который в конце жизни попадает в рай (Гофмансвальдау тоже использует образ гавани-рая в стихотворении «Мир»). Однако в данном случае эта метафора приобретает иное значение: корабль бороздит «алебастровое море» — тело возлюбленной — и в итоге заходит в гавань несколько иного рода, что не противоречит традиционным коннотациям райского блаженства.

В своих посланиях Гофмансвальдау нередко обращается к традиционным для барокко мотивам *memento mori* и *carpe diem*. Так, лирический герой убеждает возлюбленную разделить его страсть, поскольку она не вечно будет юна и прекрасна («Аврелия, используй каждый час...»). А в сонете «Недолговечность красоты» показано, как изменится всё тело потенциальной возлюбленной — с головы до пят, — когда к ней придёт смерть. Это стихотворение написано по мотивам сонета Джузеппе Саломони, однако Гофмансвальдау — не без помощи немецкого языка, в котором смерть мужского рода — создал более выразительный и жуткий образ смерти-любовника, нежно обнимающего свою жертву и превращающего «снег горячий плеч» в песок. Интересна и концовка сонета: единственное, что останется от возлюбленной, — это её сердце, сделанное из алмаза. Вероятнее всего, это характерная для Гофмансвальдау неожиданная ирония: возлюбленная жестока, и сердце у неё жёсткое, как алмаз. Таким образом, философский сонет заканчивается упрёком личного характера.

Говоря о любовных посланиях, важно помнить, что лирическое «я» в эпоху барокко имело мало общего с личностью автора. В эротических стихотворениях Гофмансвальдау встречается более двадцати различных женских имён, однако они едва ли соотносятся с реальными знакомыми городского советника.

В целом за Гофмансвальдау закрепились репутация проповедника чувственной любви. Он не уставал доказывать потенциальным читателям, что такая любовь угодна Господу, естественна и прекрасна, а все запреты, навязанные обществом, искусственны («Адам был наг и не был одинок... Мешает нам с тобой закон какой?»). Стремиться любить — значит быть человеком, нужно принять это и не пытаться изменить свою природу. 

## Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau

**Morgenlied**

Das Licht, so sich verborgen,  
Macht itzt den neuen Morgen,  
Es sinckt die trübe Nacht.  
Die bleichen Sternen weichen,  
Der Monde wil verstreichen,  
Und ich bin aufgewacht.

Daß ich mich kan bewegen,  
Daß Hand und Fuß sich regen,  
Daß ich noch leben kan:  
Daß Auge, Mund und Ohren  
Nicht ihre Krafft verlohren,  
Hast du O Herr gethan.

Diß hab ich aus Genaden,  
Ich, der ich bin beladen  
Mit überhäuffter Schuld.  
Es scheint, du wilst die Flecken  
Mit deinem Mantel decken  
Und hast mit mir Geduld.

Herr, laß mit reinem Hertzen  
Mich schauen diese Kertzen,  
Die Erd und Himmel ziehrt:  
Laß doch den Schnee der Sünden  
Für diesem Strahl verschwinden,  
Den du hast aufgeführt.

Bewege Hand und Sinnen,  
Treib selber mein Beginnen,  
Sey meines Geistes Licht:

---

Христиан Гофман фон Гофмансвальдау

Переводы: Вероника Шмитт

### Утренняя песня

Свет, прятавшийся ночью,  
Прорезал мрака ключья,  
Мелькнула бирюза.  
И звёзд белесых стаи  
Поблекли, чуть блистая,  
И я открыл глаза.

Что спал я без тревоги,  
Что целы руки-ноги,  
Что невредима плоть,  
Что вижу, слышу, чую,  
Что двигаться хочу я —  
Всё сделал ты, Господь.

И я благоговею  
Пред милостью твоею.  
На душу давит грех,  
Но ты позора пятна  
Прикроешь деликатно,  
Ведь ты сердечней всех.

Позволь, расправив плечи,  
Небесные зреть свечи  
И хоровод светил.  
Так хочется мне, чтобы  
Грехов моих сугробы  
Жар солнца растопил.

Наставь мой дух и тело  
На праведное дело  
И душу освети:

Wie kan mein Fuß bestehen  
Und ohne Straucheln gehen,  
Wenn mir dein Trieb gebricht.

Verschleuß des Geistes Schrancken  
Für nichtigen Gedancken,  
Für Dornen böser Lust,  
Für Disteln vieler Plagen,  
Die gute Kräuter jagen  
Aus der verwirrten Brust.

Ich bin in einer Wüste  
Voll tausend böser Lüste,  
Herr, reiche mir die Hand.  
Ich kan heraus nicht schreiten,  
Wird mich dein Wort nicht leiten  
In ein bebauter Land.

Ich will mich zwar bemühen,  
Den Glantz der Welt zu fliehen,  
Darinn ich bin verhafft;  
Doch weil auf allen Seiten  
So leichtlich ist zu gleiten,  
So gib mir neue Krafft.

Herr, lencke mein Gesichte  
Hin zu dem rechten Lichte  
Und zu dem rechten Schein;  
Heb du des Geistes Schwingen,  
Die Wolcken durchzudringen,  
So kan ich Adler seyn.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hoffmann von Hoffmannswaldau. Gesammelte Werke. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 1984. Bd. I:2, S. 767-768.

Как, без твоей подмоги  
Шагая по дороге,  
Не сбиться мне с пути?

Закрой соблазна двери,  
Чтоб не мешали вере.  
Ты только изведи  
Репейник вожделений,  
Он рост других растений  
Глушит в моей груди.

Я одинок в пустыне  
Влечений и гордыни;  
Дай руку мне, отец!  
Тогда свершится чудо,  
И выйду я отсюда  
На ниву, наконец.

Я повторял лишь это:  
«Беги от блеска света!»  
Я прочь уйти спешил  
Из этого острога,  
Но так скользит дорога.  
Отец мой, дай мне сил.

Божественною дланью  
К небесному сиянью  
Поставь меня лицом.  
Пусть, туч взметая станы,  
Я воспарю и стану  
Бестрепетным орлом.

## Die Welllust

Was ist die Lust der Welt? Nichts als ein Fastnachtsspiel,  
 So lange Zeit gehofft, in kurtzer Zeit verschwindet,  
 Da unsre Masquen uns nicht hafften, wie man wil,  
 Und da der Anschlag nicht den Ausschlag recht empfindet.  
 Es gehet uns wie dem, der Feuerwercke macht,  
 Ein Augenblick verzehrt oft eines Jahres Sorgen;  
 Man schaut, wie unser Fleiß von Kindern wird verlacht,  
 Der Abend tadelt oft den Mittag und den Morgen.  
 Wir fluchen oft auf dis, was gestern war gethan,  
 Und was man heute küst, muß morgen eckel heissen,  
 Die Reimen, die ich itzt geduldig lesen kan,  
 Die werd ich wohl vielleicht zur Morgenzeit zerreißen.  
 Wir kennen uns, und dis, was unser ist, oft nicht,  
 Wir tretten unsern Kuß oft selbst mit steiffen Füßen,  
 Man merckt, wie unser Wuntsch ihm selber widerspricht  
 Und wie wir Lust und Zeit als Slaven dienen müssen.  
 Was ist denn diese Lust und ihre Macht und Pracht?  
 Ein grosser Wunderball mit leichtem Wind erfüllet.  
 Wohl diesem, der sich nur dem Himmel dienstbar macht,  
 Weil aus dem Erdenkloß nichts als Verwirrung quillet<sup>1</sup>.

## An Lauretten

Laurette bleibstu ewig stein?  
 Soll forthin unverknüpfet seyn  
 Dein englisch-seyn und dein erbarmen?  
 Komm, komm und öffne deinen schooß  
 Und laß uns beyde nackt und bloß  
 Umgeben seyn mit geist und armen.

Laß mich auff deiner schwanen-brust  
 Die oft-versagte liebes-lust  
 Hier zwischen furcht und scham geniessen.

---

<sup>1</sup> Hoffmann von Hoffmannswaldau. Gesammelte Werke. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 1984. Bd. I:2, S. 817-818.

## Земные утехи

Что жизнь? Лишь масленичный, яркий маскарад,  
Его так долго ждёшь, а он мгновенье длится,  
И маски каждый раз сползают невпопад,  
И всем тогда видны совсем другие лица.  
Мы все сжигаем жизнь, как будто фейерверк:  
Уничтожает миг аж целый год стараний;  
И вот уж сын, смеясь, отцовский труд отверг,  
А ночь ворчит на день, браня час утра ранний.  
Мы проклинаям то, что делали вчера,  
И грязью назовём то, что творили ночью,  
Те строчки, что сейчас на кончике пера,  
Я утром разорву, скорей всего, на клочья.  
Не знаем мы себя: кто мы, чего хотим.  
Мы топчем поцелуй бездумными ногами,  
Мы противостоим желаниям своим,  
Но удовольствия, знай, заправляют нами.  
Что значит эта страсть, и блеск её, и власть?  
Она воздушный шар, прислужница мгновенья.  
Но счастлив тот, кто ниц пред небом может пасть,  
Ведь глиняный Адам — источник заблужденья.

## Лауретте

Ты статуей решила стать?  
Что ж, ангельская благодать  
Несовместима с добрым делом?  
Раскрой же лоно, и с тобой,  
Блестая вешней наготой,  
Сплетёмся мы душой и телом.

Позволь на грудь лебяжью пасть,  
Запретную насытить страсть,  
Дрожа от страха и желанья.

Und laß mich tausend tausendmahl,  
 Nach deiner güldnen haare zahl,  
 Die geister-reichen lippen küssen.

Laß mich den ausbund deiner pracht,  
 Der sammt und rosen nichtig macht,  
 Mit meiner schlechten haut bedecken;  
 Und wenn du deine lenden rührst  
 Und deinen schooß gen himmel führst,  
 Sich zucker-süsse lust erwecken.

Und solte durch die heisse brunst  
 Und deine hohe gegen-gunst  
 Mir auch die seele gleich entfliessen,  
 So ist dein zarter leib die bahr,  
 Die seele wird drey viertel jahr  
 Dein himmel-rundter bauch umschliessen.

Und wer alsdenn nach meiner zeit  
 Zu lieben dich wird seyn bereit  
 Und hören wird, wie ich gestorben,  
 Wird sagen: Wer also verdirbt  
 Und in dem zarten schoosse stirbt,  
 Hat einen sanfften tod erworben<sup>2</sup>.

\* \* \*

Albanie, gebrauche deiner zeit  
 Und laß den liebes-lüsten freyen zügel.  
 Wenn uns der schnee der jahre hat beschneyt,  
 So schmeckt kein kuß, der liebe wahres siegel,  
 Im grünen may grünt nur der bunte klee.  
 Albanie.

---

<sup>2</sup> Benjamin Neukirchs Anthologie. Herrn von Hoffmannswaldau und andrer Deutschen auserlesene und bisher ungedruckte Gedichte. Neudruck Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1961. Bd. 1, S. 407-8

Прошу тебя, позволь взасос  
Сто тысяч раз — число волос  
Твоих — дарить тебе лобзанья.

Позволь мне эту красоту  
(Нежней шиповника в цвету)  
Накрыть своею грубой кожей.  
Так двигай бёдрами, чтоб стон  
Пронзил усталый небосклон,  
Дав пробудиться сладкой дрожи.

Взаимным будет наш порыв;  
Когда же, жажду утолив,  
Вдруг дух я испущу на теле  
Живом, как будто на одре,  
За девять месяцев в нутре  
Дозреет дух до колыбели.

Другой любовник сей рассказ  
Прочтёт. Узнав, как я погас  
В разгаре страстной круговерти,  
Он скажет: кто нашёл предлог,  
Чтоб умереть меж нежных ног,  
Тот знает толк в красивой смерти.

\* \* \*

Аврелия, используй каждый час,  
Дай волю страсти, отпусти поводья.  
Когда снег возраста засыпет нас,  
Не будет поцелуев половодья.  
Цветёт в апреле клевер луговой.  
Аврелия.

Albanie, der schönen augen licht,  
 Der leib, und was auff den beliebten wangen  
 Ist nicht vor dich, vor uns nur zugericht.  
 Die äpfel, so auff deinen brüsten prangen,  
 Sind unsre lust und süsse anmuths-see.  
 Albanie.

Albanie, was quälen wir uns viel  
 Und züchtigen die nieren und die lenden?  
 Nur frisch gewagt das angenehme spiel,  
 Jedwedes glied ist ja gemacht zum wenden,  
 Und wendet doch die sonn sich in die höh.  
 Albanie.

Albanie, soll denn dein warmer schooß  
 So öd und wüst und unbebauet liegen?  
 Im paradieß da gieng man nackt und bloß  
 Und durffte frey die liebes-äcker pflügen.  
 Welch menschen-satz macht uns diß neue weh?  
 Albanie.

Albanie, wer kan die süßigkeit  
 Der zwey vermischten geister recht entdecken?  
 Wenn lieb und lust ein essen uns bereit,  
 Das wiederhohlt am besten pflegt zu schmecken,  
 Wünscht nicht ein hertz, daß es dabey vergeh?  
 Albanie.

Albanie, weil noch der wollust-thau  
 Die glieder netzt und das geblüte springet,  
 So laß doch zu, daß auff der Venus-au  
 Ein brünstger geist dir kniend opffer bringet,  
 Daß er vor dir in voller Andacht steh.  
 Albanie<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Benjamin Neukirchs Anthologie. Herrn von Hoffmannswaldau und andrer Deutschen auserlesene und bißher ungedruckte Gedichte. Neudruck Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1961. Bd. 1, S. 70-71.

Аврелия, заря прекрасных глаз,  
Улыбка, щёки, сладостное тело —  
Всё это было создано для нас,  
И яблочная грудь для нас поспела.  
Гремит во мне желания прибой.  
Аврелия.

Аврелия, зачем же нам страдать,  
Плоть мучать, истязать воображенье?  
Игра любви не вечно будет ждать,  
И созданы суставы для движенья.  
Ведь движется и солнце над водой.  
Аврелия.

Аврелия, доколь меж тёплых ног  
Пустыне невозделанной томиться?  
Адам был наг и не был одинок,  
Поля любви любой вспахать стремится.  
Мешает нам с тобой закон какой?  
Аврелия.

Аврелия, кто может передать  
Восторг двух душ, когда он слился с нею?  
Любовь не даст нам долго голодать,  
А яства страсти что ни день вкуснее.  
Трепещет сердце, дать готово сбой.  
Аврелия.

Аврелия, пока бессилен страх,  
Пока поток любви бежит по венам,  
Позволь, чтоб на Венериных лугах  
Мой дух покорно пал к твоим коленам  
И встал, благоговя, пред тобой.  
Аврелия.

\* \* \*

So soll der purpur deiner lippen  
 Itzt meiner freyheit bahre seyn?  
 Soll an den corallinen klippen  
 Mein mast nur darum lauffen ein,  
 Daß er an statt dem süssen lande  
 Auff deinem schönen munde strande?

Ja, leider! es ist gar kein wunder,  
 Wenn deiner augen sternend licht,  
 Das von dem himmel seinen zunder  
 Und sonnen von der sonnen bricht,  
 Sich will bey meinem morrschen nachen  
 Zu einen schönen irrlight machen.

Jedoch der schiffbruch wird versüset,  
 Weil deines leibes marmel-meer  
 Der müde mast entzückend grüset  
 Und fährt auff diesem hin und her,  
 Biß endlich in dem zucker-schlunde  
 Die geister selbstn gehn zu grunde.

Nun wohl! diß urthel mag geschehen,  
 Daß Venus meiner freyheit schatz  
 In diesen strudel möge drehen,  
 Wenn nur auff einem kleinen platz  
 In deinem schooß durch vieles schwimmen  
 Ich kan mit meinem ruder klimmen.

Da will, so bald ich angeländet,  
 Ich dir ein altar bauen auff,  
 Mein hertze soll dir seyn verpfändet,  
 Und fettes opffer führen drauff;  
 Ich selbst will einig mich befleissen,  
 Dich gött- und priesterin zu heissen<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Benjamin Neukirchs Anthologie. Herrn von Hoffmannswaldau und andrer Deutschen auserlesene und bißher ungedruckte Gedichte. Neudruck Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1961. Bd. 1, S. 449-450.

\* \* \*

Неужто рот твой тёмно-алый  
Одром моей свободы стал?  
И угодил мой киль бывалый  
На скал коралловый оскал,  
Поскольку сел на мель он, страстный,  
Близ рта, а не в стране прекрасной?

Да, к сожалению! Не диво,  
Что искры этих звёздных глаз  
(Их высекло небес огниво  
И солнце разожгло тотчас)  
Как огонь болотный с курса сбили  
Мой углый челн и загубили.

Но есть и сладость в этом горе:  
Усталый киль мой не разбит,  
Он алебастровое море  
Теперь блаженно бороздит  
И в ту пучину мчится смело,  
Где души покидают тело.

Что ж, хорошо! Пусть Афродита  
Моей свободы изумруд  
В пучину бросит домовито.  
Но на хоть сколько-то минут  
Позволь мне, дева, благосклонно  
Веслом раздвинуть волны лона.

Тогда, как только я причалю,  
Воздвигну для тебя алтарь  
И сердце принесу вначале,  
А после много жертв, как встарь.  
Ты будешь для меня отныне  
Идоложрица и богиня.

## Auf eine Übersendete Nelke

Du sendest mir das blut von deinem mund und wangen,  
 Und eine nelcke muß dein theurer bote seyn:  
 Ich schaue zwar das blut auf weissen feldern prangen;  
 Doch stellt die wärmde sich hier nicht als nachbar ein.  
 Die negel ehr ich zwar mit mehr als tausend küssen,  
 Ich bin dazu verpflichtet, sie kommt auß deiner hand;  
 Doch wil nichts feuchtes mir auf mund und lippen flüssen:  
 Was geist und wärmde heist, ist ihr gantz unbekandt.  
 Sie weiß mit honigthau mir nicht den mund zu netzen,  
 Sie kennt das schmätzeln nicht und diß was züngeln heist,  
 Sie weiß den purpur nicht auf meinen mund zu setzen,  
 Ich fühle nicht was mich auf meine lippen beist.  
 Sie weiß mir meinen mund nicht schlüpfrig aufzuschliessen,  
 Die feuchte kützelung kennt diese nelcke nicht.  
 Durch warmes böben kan sie keinen kuß versüssen,  
 Weil nässe, geist und blut der nelcke stets gebricht.  
 Doch kömmt die nelcke mir nicht leichtlich aus dem munde,  
 Ich aber netze sie durch einen heissen kuß.  
 Ach freundin! wünsche mir doch zeitlich diese stunde,  
 Da mich entzücken kan dein reicher überfluß.  
 Es reist mich aus mir selbst ein süßes angedencken,  
 Was mir vor höflichkeit dein kuß hat angethan.  
 Du wirst mir einen kuß bey dieser nelckes chencken  
 Und zeigen, daß dein mund mehr als die blume kan<sup>5</sup>.

## Ermahnung zur Vergnügung

Ach was wolt ihr trüben Sinnen  
 Doch beginnen!  
 Traurig seyn hebt keine Noth,  
 Es verzehret nur die Hertzen,  
 Nicht die Schmerzen,  
 Und ist ärger als der Tod.

---

<sup>5</sup> Benjamin Neukirchs Anthologie. Herrn von Hoffmannswaldau und andrer Deutschen auserlesene und bißher ungedruckte Gedichte. Neudruck Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1961. Bd. 2, S. 74-75.

### ГВОЗДИКА

Ты шлѣшь мне кровь ланит и губ. Так, поневоле,  
Гвоздике стать пришлось поверенным твоим.  
Сверкает эта кровь на белоснежном поле,  
Но только жизни жар с ней несоединим.  
Я лаской жадных губ гвоздику удостою,  
Ведь прикасалась к ней любимая рука.  
Но не напиться мне засохшей красотою:  
Души недостаёт у этого цветка.  
Она не увлажнит мой рот росой медовой,  
Она не признаёт лобзаний языком,  
Не тянется ко мне своей щекой шелкóвой,  
И чувственный укус ей тоже не знаком.  
Она не знает, как мои раздвинуть губы,  
Как их пощекотать, и к нежностям глуха.  
Ни трепет влажных губ, ни жар их ей не любви,  
В ней крови нет, она бездушна и суха.  
И всё ж гвоздику я, из рук не выпуская,  
Целую горячо, как будто бы влюблѣн.  
Но нет покоя мне, любимая, пока я  
Всем изобилием не буду ослеплѣн.  
Передо мной плывут воспоминаний блики:  
Вот ты коснулась губ, прекрасна и нежна.  
Когда-нибудь ты мне докажешь, при гвоздике,  
Что можешь целовать лучше, чем она.

### Призыв к веселью

Ах, опять тоска и скука,  
Что за мука!  
Не избавит грусть от бед,  
Лишь прибавит в сердце боли  
Поневоле —  
Хуже смерти этот бред.

Dornenreiches Ungelücke,  
Donnerblicke  
Und des Himmels Härtigkeit  
Wird kein Kummer linder machen;  
Alle Sachen  
Werden anders mit der Zeit.

Sich in tausend Thränen baden  
Bringt nur Schaden  
Und verlöscht der Jugend Licht;  
Unser Seuffzen wird zum Winde;  
Wie geschwinde  
Aendert sich der Himmel nicht!

Heute wil er Hagel streuen,  
Feuer dräuen;  
Bald gewehrt er Sonnenschein,  
Manches Irrlicht voller Sorgen  
wird uns Morgen  
Ein bequemer Leitstern seyn.

Bey verkehrten Spiele singen,  
Sich bezwingen,  
Reden, was uns nicht gefällt,  
Und bey trüben Geist und Sinnen  
Schertzen können  
Ist ein Schatz der klugen Welt.

Über das Verhängnüß klagen  
Mehrt die Plagen  
Und verräth die Ungeduld;  
Diesem, der mit gleichem Herten  
Trägt die Schertzen,  
Wird der Himmel endlich hold.

Auff O Seele! du must lernen  
Ohne Sternen,

Ни тернистое несчастье,  
Ни ненастье,  
Ни безжалостность небес  
Не смягчить тоской глухою,  
А плохое  
Всё пройдёт — с тоской иль без.

Горько плакать втихомолку  
Мало толку —  
Гаснет юности фитиль.  
Вздых продлится лишь мгновенье:  
Дуновенье —  
И опять на море штиль.

То пожар, то постук града,  
Снегопады...  
Вдруг луч солнца над водой.  
Станет огонёк болотный  
Беззаботной  
Путеводною звездой.

Петь назло своей же фальши  
Или дальше  
Говорить, хоть нелегко,  
Если горестно и жутко,  
Вставить шутку —  
Значит мыслить широко.

Участь проклинать худую,  
Негодую, —  
Пить по капле жгучий яд.  
К тем, кто примет боль достойно  
И спокойно,  
Небеса благоволят.

Что, душа, ты загрустила?  
Без светила

Wenn das Wetter tobt und bricht,  
 Wenn der Nächte schwartze Decken  
 Uns erschrecken,  
 Dir zu seyn dein eigen Licht.

Du must dich in dir ergetzen  
 Mit den Schätzen,  
 Die kein Feind zunichte macht;  
 Und kein falscher Freund kan kräncken  
 Mit den Ränken,  
 Die sein leichter Sinn erdacht.

Von der süssen Kost zu scheiden  
 Und zu meiden,  
 Was des Geistes Trieb begehrt,  
 Sich in sich stets zu bekriegen  
 Und zu siegen  
 Ist der besten Krone werth<sup>6</sup>.

### **Rede der Schreibe-Feder**

Mich hat ein schwaches thier zwar zu der welt gebracht,  
 Doch kan ich thron und kron durch meine kunst besiegen,  
 Es wird des scepters stab zu meinen füssen liegen,  
 Wo ihn der kluge kiel durch sich nicht schätzbar macht.  
 Rom war bey aller welt durch mich so groß geacht,  
 Daß, wenn sich könige und fürsten musten biegen,  
 So stieg ich über diß. Den lorbeer-krantz von kriegen  
 Hat eintzig und allein vermehret meine pracht.  
 Der himmlische Virgil saß in Augustus schooß,  
 Und Cicero hat oft durch reden Rom bewegeet.  
 Itzt wird Germanien noch tausendmahl so groß,  
 Weil es den helden-muth auff freye künste leget.  
 Manch hut, der mich zwar trägt, wird nur durch mich verstell,  
 Weil sich nicht kunst und witz zu seinem strauß gesellt.

---

<sup>6</sup> Hoffmann von Hoffmannswaldau. Gesammelte Werke. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 1984. Bd. I:2, S. 807-808.

Сбившись с верного пути,  
Не страшись ночного грома,  
Будь как дома  
И сама себе свети!

Будь сама себе опорой,  
Мощь которой  
Не сломить рядом врагов  
И тому, кто был когда-то  
Ближе брата,  
А теперь предать готов.

Кто не падох был на сласти  
Или страсти  
Не давал встать у руля,  
Кто взял верх в борьбе с собою  
В гуще боя,  
Тот богаче короля.

### Монолог гусяного пера

Мне подарило жизнь простое существо,  
Но покорятся мне державы и короны,  
И даже жезл падёт на землю возле трона —  
Любое царствование без меня мертво.  
Мне Рим обязан тем, что чтит все его.  
Вожди с монархами спешили бить поклоны.  
Восславило перо тот лавр, что легионы  
Стяжали, принеся победы торжество.  
Октавиан ценил Марона звучный стих,  
Речами Цицерон Рим приводил в волнение,  
Но смотрит свысока Германия на них,  
В одно геройский дух смешав и вдохновение.  
Кто ж в шляпу вдел меня, походит на шута:  
На голове перо, а голова пуста.

## Gedancken bey Antretung des funffzigsten Jahres

Mein Auge hat den alten Glantz verlohren,  
Ich bin nicht mehr, was ich vor diesem war,  
Es klinget mir fast stündlich in den Ohren:  
Vergiß der Welt, und denck auf deine Baar,  
Und ich empfinde nun aus meines Lebens Jahren,  
Daß funfftzig schwächer sind als fünff und zwantzig waren.

Du hast, mein Gott, mich in des Vaters Lenden  
Als rohen Zeug, genädig angeschaut,  
Und nachmahls auch in den verdeckten Wänden,  
Ohn alles Licht, durch Allmacht aufgebaut.  
Du hast als Steuermann und Leitstern mich geführt,  
Wo man der Wellen Sturm und Berge Schrecken spüret.

Du hast den Dorn in Rosen mir verkehret  
Und Kieselstein zu Cristallin gebracht,  
Dein Seegen hat den Unwerth mir verzehret  
Und Schlackenwerck zu gleichem Ertzt gemacht.  
Du hast als Nulle mich den Zahlen zugesellet,  
Der Welt Gepräuge gilt nach dem es Gott gefället.

Ich bin zu schlecht, vor dieses Danck zu sagen,  
Es ist zu schlecht, was ich dir bringen kan.  
Nim diesen doch, den du hast jung getragen,  
Als Adlern itzt auch in dem Alter an.  
Ach! stütze Leib und Geist, und laß bey grauen Haaren  
Nicht grüne Sündenlust sich meinem Herten paaren.

Las mich mein Ampt mit Freudigkeit verwalten,  
Las Trauersucht nicht stören meine Ruh,  
Las meinen Leib nicht wie das Eys erkalten  
Und lege mir noch etwas Kräfte zu.  
Hielff, daß mich Siechthum nicht zu Last und Eckel mache,  
Der Morgen mich beweine, der Abend mich verlache.

**Мысли по случаю моего пятидесятилетия**

Я уж не тот, каким я был когда-то.  
Взор потускнел, в глазах сплошная муть,  
И звон в ушах: обратно нет возврата,  
О смерти думай, а про мир забудь.  
Я чувствую теперь, добравшись до погоста:  
Что в двадцать пять легко, то в пятьдесят непросто.

Господь, ты на меня взглянул приветно:  
Я семенем в отцовских чреслах был,  
А после в тёмном лоне незаметно  
Из ничего меня творил твой пыл.  
Ты кормчим был моим, звездою путеводной,  
Меня ты нёс сквозь шторм и скалы бездны водной.

Ты гальку на тропе моей в кристаллы,  
А терн колючий в розы превращал.  
Благословлял — и скверна исчезала,  
Когда ты плак переплавлял в металл.  
Меня, что был нулём, ты ввёл в собрание чисел.  
Угоден миру тот, кого Господь возвысил.

Не мне тебя благодарить за это.  
Ничтожен я, и мой ничтожен дар.  
Коль в юности меня ты вынес к свету,  
Не оставляй теперь, когда я стар.  
Дух с телом укрепи, избавь мои седины  
От патины греха и дай крыла орлины.

Дай мне любимым упиваться делом,  
Не дай мне бытия мрачить тоской,  
Не дай мне стать вконец заледенелым.  
Придай мне сил и душу успокой!  
Не дай, чтоб, заболев, я стал обузой гадкой,  
Чтоб день скорбел по мне, смеялась ночь украдкой.

Las mich die Lust des Feindes nicht berücken,  
Die Wermuth offft mit Zucker überlegt,  
Verwirr ihn selbst in Garne seiner Tücken,  
Daß der Betrug nach seinem Meister schlägt.  
Las mich bey guter Sach ohn alles Schrecken stehen  
Und unverdienten Haß zu meiner Lust vergehen.

Verjüng in mir des schwachen Geistes Gaben,  
Der ohne dich ohn alle Regung liegt,  
Las mit der Zeit mich diesen Nachklang haben:  
Daß Eigennutz mich niemahls eingewiegt,  
Daß mir des Nechsten Gutt hat keinen Neid erwecket,  
Sein Ach mich nicht erreicht, sein Weinen nicht beflecket.

Hielff, daß mein Geist zum Himmel sich geselle  
Und ohne Seyd und Schmüncke heilig sey;  
Bistu doch, Herr, der gute reine Quelle;  
So mache mich von bösen Flecken frey.  
Wie leichtlich läst sich doch des Menschen Auge blenden!  
Du weist, wie schwach es ist, es kombt aus deinen Händen.

Denn führe mich zu der erwehlten Menge  
Und in das Licht durch eine kurtze Nacht:  
Ich suche nicht ein grosses Leichgepränge  
Aus Eytelkeit und stoltzer Pracht erdacht.  
Ich wil kein ander Wort um meinen Leichstein haben,  
Als diß: *Der Kern ist weg, die Schalen sind vergraben*<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Hoffmann von Hoffmannswaldau. Gesammelte Werke. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 1984. Bd. I:2, S. 789-791.

И не посмеет пусть наш общий ворог  
Меня польньню в сахаре пленить.  
Пусть угодит он в собственный свой морок,  
Не в силах разорвать обмана нить.  
Дай мне творить добро спокойно, без боязни,  
Избавь меня, Господь, от пущей неприязни.

Вновь пробуди дары былого духа,  
Что без тебя стал хил и недвижим.  
Пусть слышит каждое людское ухо,  
Что не был я корыстью одержим,  
Что не прельщался я богатствами чужими,  
Что стон и плач моё не запятнали имя.

Позволь душе, коснувшись небосвода,  
Без жемчугов и шёлка стать святой.  
Твои, Господь, благочестивы воды,  
Ведь ты источник блага с чистотой.  
Людское око ты взрастил в своей деснице  
И знаешь, как легко во мраке оступиться!

Примкну я скоро к избранных параду,  
И к свету мы пройдем сквозь темноту.  
Тщеславных, пышных проводов не надо,  
Я им предпочитаю простоту.  
Пусть на надгробии одна лишь будет строчка:  
Ядра здесь больше нет, зарыга оболочка.

## Ахим Дитцен: «Да, Ханс Фаллада — мой отец, но я слишком плохо знал его»

*Сын знаменитого писателя Ханса Фаллады (настоящее имя — Рудольф Дитцен) в интервью главному редактору «Берлин.Берега» Григорию Аросеву говорит о судьбе отца и в целом об истории своей семьи. Непростые взаимоотношения с ближайшими родственниками и дамокловым мечом нависающий образ отца как «примера для подражания», тайна исчезнувшего романа Фаллады и работа в Обществе его имени — обо всём этом увлекательно рассказывает Ахим Дитцен. Ему не исполнилось и семи лет, когда его отец умер — и всё равно Фаллада оставил значительный след в жизни младшего сына. Ханс Фаллада — или всё же Рудольф Дитцен?*

**«Берлин.Берега».** Уважаемый господин Дитцен, подробно о вашей семье можно прочесть в замечательной книге «Ханс Фаллада и дорогие родственники» (Hans Fallada und die liebe Verwandtschaft), но я бы хотел вас попросить вкратце рассказать о судьбах ваших матери Анны, сестры Лоре и брата Ульриха.

**Ахим Дитцен.** Мои родители счастливо прожили в доме в городке Карвиц одиннадцать лет, однако в 1944 году они развелись. В последующие годы мать сама содержала двор, крестьянское хозяйство и всё сопутствующее: скот, пчёл, ферму и прочее. В 1945 году произошёл крах Третьего рейха, и всё изменилось. Наш дом заполнился беженцами. Я помню, что тогда у нас жило пять семей беженцев: из Чехословакии, из Восточной Пруссии, из Силезии. Из всех бывших немецких областей, можно сказать. И со всем этим, с двором и хозяйством, мать справлялась с чрезвычайной силой и целеустремлённостью, чтобы обеспечить наше — её детей — существование.

Мои брат и сестра в 1946 году жили в Берлине у нашего отца. Отец хотел, чтобы дети оставались при нём, а тамошние школы после войны были куда лучше, чем в соседней земле, в

Мекленбурге. В Мекленбурге тогда всё было ещё крайне «сонно». Но потом, после смерти отца в начале 1947 года, им пришлось вернуться в Мекленбург. Для Ульриха это стало тяжёлым опытом. Из разрушенного, но полного интересной жизни Берлина он попал в жалкий маленький Нойштрелиц. Но мать позаботилась о том, чтобы он мог там жить и чтобы мы, брат, сестра и я, ходили в школу в Нойштрелице.

Согласно земельной реформе, которая знаменовала собой большие исторические перемены в аграрном вопросе, крупных собственников лишали земель, а мелкие крестьяне получили дополнительную землю. Мать получила не дополнительную землю, а целый гектар леса, которым она могла распорядиться. Многие крестьяне в деревне довольно быстро вырубали «свой» лес, так как им нужны были деньги. Моя мать так не поступила, но она много и не смогла бы сделать, поскольку каждое потенциально срубленное дерево требовало бюрократических согласований.

В 1948 году мой брат всё-таки снова переехал в Западный Берлин, потому что в школе в Нойштрелице у него были проблемы с *FDJ* — Союзом свободной немецкой молодёжи (молодёжная организация ГДР). Ульрих написал для стенгазеты статью, которая *FDJ* не понравилась. И кто-то сказал ему и его другу: «Уезжайте в Западный Берлин, иначе вас отправят на добычу руды или урана». И они уехали. Тогда ещё продолжалась блокада Западного Берлина. Там они провели год, почти всегда голодали: у них не было работы и почти не было денег. Перебивались чем попало, к примеру, работали на складе... Мать, конечно, поддерживала Ульриха, но много давать ему она просто не могла.

Мать продолжала вести хозяйство и обеспечила мне счастливое детство. Я всего этого тогда ещё не знал: дети такие сложности не воспринимают и не понимают. В 1951 году на мать обрушился тяжёлый удар — умерла Лоре, моя сестра, ей даже восемнадцати лет не исполнилось. Она умерла за несколько дней до своего дня рождения от внутреннего отравления, которое развилось из-за ангины. Мать очень любила Лоре, и для неё это стало настолько сильным потрясением, что она так и

не оправилась от него всю оставшуюся жизнь, а жила она ещё долго. Всю жизнь это висело над ней тяжким грузом. Сестра тогда была очень похожа на мать и внешне, и характером, и поведением. Она многое унаследовала от матери.

Но у меня, как я уже сказал, было хорошее детство. Я вырос на природе, часто мог делать всё что хотел, а мои обязанности по хозяйству были весьма незначительными.

С 1946 по 1951 год я учился в деревенской школе в Карвице, потом меня перевели в Фельдберг: там была более крупная школа. Там я учился до десятого класса, а два последних года — в Нойштрелице. Школу я окончил в 1958-м.

И тогда перед матерью встал вопрос: что делать с сыном, то есть со мной, с моим не самым лучшим аттестатом? В Карвице она не видела для меня перспективы. Тогда она принимала в доме отпускников, чтобы заработать, и с ними тоже разговаривала об этом — о моих перспективах. Однажды среди отдыхающих оказался предприниматель из Дрездена. Там у него была типография, где работало человек восемьдесят. Для ГДР это была уже довольно большая частная фирма. Он сказал: «Наборщик — вот профессия для вашего сына».

Я не был хорошим учеником. Если перед тобой всё время «идеальный» объект для подражания... Я точно помню, что у меня по русскому была четвёрка (аналог двойки в советской школе). Мать говорила: «Так не пойдёт, ты не соответствуешь репутации своего отца». А это меня никак не мотивировало. Я окончил школу со средними оценками и далее начал профобучение в Дрездене у владельца типографии. Таким образом я уехал из Карвица, покинул отчий дом. После завершения обучения я женился, по сегодняшним понятиям слишком рано, — в двадцать лет. И в итоге в один прекрасный день мать поняла, что её сыновья более не вернуться в Карвиц и что она осталась одна в своём большом доме. У нас ещё жили беженцы, но уже не так много, как поначалу: осталась одна семья или две. Дом был, конечно, слишком большим, чтобы содержать его в гэдээровских условиях. Ремонт крыши, сантехника... На это всегда уходило много денег, и их нужно было как-то зарабатывать. Работы по дому всегда было слишком много, и поэтому в 1965 году мать продала участок.

Она хотела, чтобы дом достался кому-то, кто не превратит его в какое-нибудь роскошное место отдыха для богача. Хотела передать дом в хорошие руки. В итоге она продала его берлинскому издательству детских книг — оно так и называлось, *Kinderbuchverlag*. Шеф этого издательства тоже был одним из отпускников, которые приезжали к нам. Издательство использовало этот дом и участок как место отдыха для своих сотрудников. На полученные деньги мать построила себе в Фельдберге, в ближайшем местечке, небольшой деревянный дом, совсем маленький. Это был так называемый сборный дом, и она прожила в нём ещё двадцать пять лет, вплоть до самой смерти. Там она была счастлива и довольна.

Но своего мужа, бывшего мужа, она не забыла и так и не отпустила. Для неё он всегда был самым важным человеком в её жизни. Несмотря на развод, несмотря на нехорошие истории, которые были вокруг развода. Я ещё помню, что она всегда рассказывала о нём только хорошее, когда приезжали «обычные» люди. Иначе было с Гюнтером Каспаром, который издавал книги Фаллады в издательстве Aufbau. Каспар писал к каждому тексту длинные и основательные послесловия, всё по существу: об истории создания книги и о жизни Фаллады. И поэтому, когда Каспар приезжал перед изданием очередной книги, он привозил с собой длинный список вопросов, может, восемьдесят-девять, на которые моей матери нужно было ответить. И она отвечала, в том числе вспоминая далеко не самые приятные вещи. Её рассказы были важным источником информации для Каспара.

Мой брат, прожив год в Берлине, вероятно, с помощью друзей отца, нашёл работу в газете в Западном Берлине. Это была «Нойе цайтунг» — газета американских оккупационных властей, издаваемая для населения той части Германии. Сначала он там работал помощником редактора, писал репортажи из судов. Там он познакомился со своей первой женой, и она мне позднее рассказывала, что, когда они собирались жениться, Ульрих хотел сдать экзамены на аттестат зрелости: школу в Нойштрелице ему окончить не удалось. Они решили, что он пойдёт в школу, а она будет редакторской деятельностью зарабатывать необходимые

деньги. Вскоре газету закрыли и их уволили. Она смогла устроиться журналисткой на радиостанции, освещала вопросы культуры и стала в этой теме одной из лучших. Незаурядная женщина, её очень любили. Они прожили вместе семь лет, а потом разошлись. Брат получил в Берлине юридическое образование, диплом и женился второй раз. Во втором браке у него родились четверо детей, но и этот брак в итоге распался — через десять-двенадцать лет. В 1972 году он переехал в Западную Германию, во Франкфурт-на-Майне. Там он набирался опыта в большой адвокатской фирме, после чего в середине семидесятых открыл собственную контору в Вуппертале, где и прожил почти до самой смерти. Там он познакомился со своей третьей женой; он хотел прожить с ней остаток жизни, но она умерла раньше. Это стало для него тяжёлым ударом. Кто-то из его детей жил в Берлине, и он переехал туда же. В Берлине он прожил последние три года. Он умер десять лет назад, на Рождество 2012 года, в самом конце декабря.

**— Как познакомились ваши родители?**

— Есть история, которую отец рассказывал в воспоминаниях. Он снимал комнату у «рабочей» женщины, которая была матерью его будущей жены. Дочь хозяйки поехала на лечение на шесть или восемь недель, а когда вернулась, мой отец был вынужден съехать. И они встретились только на лестнице, но тут же почувствовали влечение друг к другу. Это история, которую рассказывал мой отец. На самом деле это было совсем иначе. После заключения в Ноймюнстере он в Гамбурге вступил в сообщество страдающих от различного рода зависимостей «Блаукройцлер». Там он познакомился с братом будущей жены. Тот взял его как-то к себе домой, и там он с ней и встретился. Но в любом случае следующее, что он рассказывал, правда: они недолго размышляли, прежде чем решили пожениться: не прошло и полугода, как они это сделали. И тогда моя мать переехала к нему в Ноймюнстер. Там он работал в газете. Эта работа оплачивалась очень плохо, но им всё-таки хватало на жизнь.

А потом Эрнст Ровольт, глава издательства *Rowohlt*, пригласил его в Берлин и дал ему работу. Издательство обеспечило ему комфортный график работы — с девяти до четырнадцати

часов, полдня. А потом он мог идти домой и делать то, что ему вздумается. *Romohlt* не ошиблось — он шёл домой и писал, работал над своим первым большим романом «Крестьяне, бонзы и бомбы».

**— Где вы и остальные члены семьи, за исключением вашего отца, о котором многое рассказано, были во время Второй мировой войны?**

— Я родился в 1940 году. Семья жила в Карвице, но не все там присутствовали постоянно. Мой брат Ульрих с 1940 по 1945 год жил в Темплине — в маленьком городе примерно в тридцати километрах от Карвица. Но тогда туда было сложно добраться — Ульрих почти всегда ездил туда на велосипеде. Там он жил в интернате и учился в гимназии. Это была престижная гимназия и в тридцатые годы, и раньше. Под конец войны, думаю, в конце 1944-го, её превратили в школу СС. На выходные Ульрих приезжал домой. До 1943 года наша сестра Лоре также жила в Карвице, а потом, когда ей исполнилось десять лет, должна была переехать в Потсдам, где она ходила в школу для девочек. Родители неожиданно остались дома только со мной. Но в 1944-м или 1945-м Лоре снова вернули домой, потому что авианалёты были слишком опасными. Так что в 1945 году, к концу войны, мы все были в Карвице. К тому же в нашем доме жила и мама отца — моя бабушка, а также мы приняли у себя сестёр мамы, чьи дома были разбомблены в Гамбурге. Но отец тогда уже был не там, а в Фельдберге. К тому моменту он уже женился вторично. В мае 1945 года военный комендант Фельдберга, поставленный Советской армией, назначил отца бургомистром. Это была крайне странная история.

**— В 1944 году Рудольф Дитцен, уже после развода, в невменяемом состоянии выстрелил в вашу мать, хотя всё и обошлось. Оказало ли это происшествие психологическое воздействие на неё, вспоминала ли она об этом позднее?**

— Об этом инциденте я ничего не знал и услышал только много позже. Мать никогда не рассказывала об этом и всегда пыталась сгладить эту историю. Отец, видимо, находился под сильным воздействием алкоголя. Для меня это происшествие не имело значения. Брат был в Темплине в тот момент, он тоже

ничего не знал. И сестра. То есть это произошло только между ними. Но мои брат и сестра об этом узнали, потому что отец попал в тюрьму в Альтштрелице. Это вообще-то была тюрьма для больных заключённых.

Я никогда не слышал, чтобы мать критически отзывалась о браке с нашим отцом. Она никогда не рассказывала ничего плохого. У нас много фотоальбомов, отец много фотографировал, осталось очень много снимков. Но это всегда были картины красивой жизни в Карвице. Мать никогда не рассказывала о нехороших сторонах. Впервые я прочитал о трудной жизни отца и его женитьбе на маме только в 1966 году. Тогда я увидел, что на книжной полке матери помимо книг Ханса Фаллады стоит небольшая зелёная брошюра издательства *Rowohlt* — это была монография Юргена Мантая о Фалладе. И тогда я впервые прочитал что-то о тяжёлой жизни отца. Это меня очень интересовало, но это было так далеко от меня, от моей тогдашней жизни, что уже не тронуло меня эмоционально так глубоко.

**— Как члены вашей семьи относились друг к другу? Менялись ли эти отношения в какую-либо сторону?**

— Мать была абсолютным центром семьи. И все делали для неё всё возможное. Жёны моего брата были сердечно приняты мамой, и они видели в ней человека, полного любви, к которому они могли относиться только с симпатией. Она принимала и любила всех своих невесток.

Мои отношения, к примеру, с братом, со временем изменились. Он ведь был на десять лет старше меня, и когда я с трудом учился в начальных классах, он уже успешно оканчивал вечернюю школу. Он был «большим» и являлся авторитетом и для нашей матери. Он был старше и всегда был успешным. Благодаря профессии адвоката он сумел добиться благополучия в жизни. А я был инженером в Дрездене, и... При социализме богатым не станешь. Если бы я был сантехником или автомехаником, можно было бы накопить немного денег, но, будучи инженером в типографии в Дрездене, много не заработаешь, мою работу оплачивали по не самому щедрому тарифу. Мы жили хорошо, но богатыми мы определённо не

были. А у моего брата, жившего в Западной Германии, было всё, чего только не пожелаешь. У меня всегда было ощущение, что в отношениях между мной и братом один смотрит сверху вниз, а другой — наоборот. И только в последние годы его жизни это изменилось, когда мы смогли общаться на одном уровне.

Но наша мать всю жизнь была тем человеком, для которого нужно было делать всё, и если у неё возникали какие-то желания, все старались их исполнить.

— **Часто ли вы навещали мать после переезда в Дрезден?**

— Под конец её жизни было несколько лет, когда у неё начались проблемы с памятью. Ей уже сложно было справляться с повседневными задачами. Тогда я каждые две-три недели ездил на машине из Дрездена в Фельдберг, это триста двадцать километров. В пятницу вечером туда, в воскресенье вечером обратно. Я помогал ей, насколько это было возможно за такое короткое время, смотрел, всё ли в порядке. Но без помощи жены брата из Западного Берлина, которая при помощи друзей получила постоянную визу на въезд в ГДР, мне и брату было бы невозможно обеспечить маме жизнь в её доме. Это было очень обременительно для меня — в дополнение к работе и семье ездить туда так часто.

— **Общались ли вы с Урсулой Лош, второй женой Рудольфа Дитцена, или с её дочерью от первого брака Юттой?**

— Нет. Урсула Лош умерла в конце пятидесятых, тогда я ещё не проявлял к ней никакого интереса и почти ничего не знал о её роли в жизни отца. Я наверняка видел её, разговаривал с ней, потому что в 1945 году, в мае или июне, отец привёз нас, спасая от нападений русских солдат, в Фельдберг, где он работал бургомистром. Ему как градоначальнику выделили дом, там было достаточно места. А в Карвице времена были ещё очень беспокойные. Постоянно приходили солдаты, которые пытались найти что-то, что можно было забрать. Сохранялась и опасность изнасилования женщин... Поэтому тогда отец взял нас к себе в Фельдберг. Там мы провели две-три недели, точно не знаю. И тогда я наверняка общался и с Урсулой Лош, хотя я

этого и не помню. Больше я никогда не встречался с ней. И с её дочерью я с тех пор тоже не виделся.

— **Помните ли вы, как вы узнали о смерти отца?**

— Да. Это было в феврале 1947 года. Мать в Карвице получила телеграмму. Но ещё до этого ей из канцелярии бургомистра сообщили, что её бывший муж скончался, о чём объявили по радио. И я ещё помню, как она отвела меня в сторону, села со мной на диван и сказала мне, что отец умер. Это я помню: как она вот так это мне рассказала и была, конечно, очень грустной.

— **Есть ли у вас воспоминания об отце?**

— Это один из вопросов, которые мне постоянно задают. Но нет, я его почти не помню. Отец был далёк от меня. Мне было три или четыре года, когда он уехал из Карвица. И шесть, когда он умер. И между этими событиями я был у него в Фельдберге, но воспоминаний об этом у меня не осталось. Есть единственное воспоминание о нём. Мы с матерью поехали в Берлин, должно быть, осенью 1946 года. Пользоваться поездами тогда было не так просто, как сейчас. Люди висели в дверях, стояли между вагонами, на буферах... Эту поездку я помню: куча людей, сидевших и стоявших в одном купе. Мы были в его доме в районе Панков, где отец пошёл со мной в сад, разговаривал со мной и потом подарил мне грушу. Красивую, жёлтую, спелую грушу. Это я ещё помню.

— **Сложная тема — Ханс Фаллада и его книги во времена национал-социализма. С одной стороны, он в 1933 году попал в тюрьму. С другой стороны, говорят, что он менял свои тексты, подгоняя их под требования гитлеровцев, что в итоге помогло ему стать одним из наиболее популярных немецких писателей 1933-1945 годов. Всё так и было?**

— Да, так и было. Сам он не был нацистом, это точно. И не изменения в текстах сделали его известным, а сами книги, которые не были особо популярными в нацистских кругах. Но их и не запрещали. Но в 1934-м, когда должен был выйти роман «Кто однажды отведает тюремной похлёбки» и почти одновременно «У нас когда-то был ребёнок», ему было понятно, что оба текста национал-социалистам не понравятся. Поэтому к «Похлёбке» он

написал предисловие. Это предисловие он называл книксеном, надеясь этим «поклоном» успокоить нацистов. Сделано это было, чтобы предотвратить негативные реакции. Издательство *Rowohlt* было против, но он это сделал. И позже он тоже пытался обойти запреты нацистов, придерживаться их правил. Это ему почти никогда не удавалось.

Но, например, свой значимый роман «Волк среди волков» он писал без всякой оглядки на запреты. Так он и был опубликован. Сотрудники *Rowohlt* — тогда издательство как раз балансировало на грани перехода под контроль государства, но было ещё независимым — сказали, что, если издательство закроют из-за этой книги, это будет того стоить. Потому что это хорошая книга. В последующие годы он занимался преимущественно литературой, которая оставалась в рамках дозволенного. Он писал сценарии, воспоминания («У нас дома в далёкие времена» и «Сегодня у нас дома»), детские книги. И в 1944 году в тюрьме он написал «Пьяницу», а также воспоминания о временах национал-социализма. Если бы их кто-то прочитал, поплатился бы и он сам, и некоторые другие. Но тогда, к счастью, их никто не читал.

**— Правда ли, что Геббельс высоко ценил тексты Фаллады?**

— Говорят, что Геббельс написал в дневнике, что он читал книги Фаллады и этот человек «кое-что может». Так рассказывали люди, которых было сложно заподозрить в симпатиях к Фалладе: они говорили это не из уважения к нему, а потому, что это наверняка соответствовало действительности. Но Геббельс хорошо знал разницу между тем, что нравится ему, и тем, что хорошо для национал-социалистов. Так же и у многих других, кто находится у власти: то, что хорошо для них, часто нехорошо для других.

**— Внесли ли книги Фаллады весомый вклад в понимание немцами своей собственной истории?**

— Я думаю, да. Мы двенадцать-тринадцать лет назад стали свидетелями фантастической истории, когда книга «Каждый умирает в одиночку» вдруг стала мировым бестселлером, через шестьдесят лет после первой публикации. Сначала в

Великобритании, потом в США, в Израиле, а затем и в Германии. И мы с братом — он тогда ещё был жив — долго наблюдали за этим и задавались вопросом, в чём же причина этого. Мы придерживались мнения, что люди хотят сейчас знать о жизни в нацистском рейхе.

Люди понимают, что мир не чёрно-белый, что есть не только нацисты и антифашисты, что есть много других людей между ними, которые немного за то или немного против этого. Серый, ещё более серый, менее серый, почти белый, но всё же не совсем белый. И тут надо ещё многое прояснить, что и делают книги Фаллады.

Второе, что я хотел бы сказать на сей счёт. Роман «Волк среди волков» для меня по сей день остаётся наилучшим описанием этого сумасшедшего времени — 1923 год, гиперинфляция, которая тогда бушевала в Германии. И этот страх до сих пор живёт в людях. Это становится понятно, когда поднимается тема инфляции, — у людей сразу появляется страх. Это воздействие сохранилось с 1923 года до наших дней. «Волк среди волков» очень хорошо описывает то время.

**— Читатели могут сделать вывод, что Ханс Фаллада чувствовал немецкую вину за преступления национал-социалистов. Сейчас многие русскоязычные читатели находят в послевоенной литературе Германии определённое утешение. Они видят в тех временах и параллели с современностью. Замечаете ли вы это тоже? Похож ли путь Германии после Второй мировой войны на тот путь, которым, возможно, придётся пойти нынешней России?**

— Да, параллели, конечно, можно увидеть. Но спектр во время национал-социализма тоже был очень широким. Существовали, конечно, убеждённые национал-социалисты, люди, верные режиму. И было очень много людей, которые были где-то между, вынуждены были вступить в партию, но только потому, что... И вплоть до противников. Я думаю, что и в России сегодня так же, что есть много людей, которые против войны, но которые не решаются или недостаточно смелы, потому что им есть что терять, если они выскажутся против. Либо у них есть работа, которую они могут потерять, либо им нужно

обеспечивать родителей, либо у них есть дом, кредит на который они ещё не выплатили. И так же было во времена национал-социализма. И это распространяется не только на нацистов или на Россию, это во всех диктатурах так.

Но есть и различия. Путь Германии сложился из ситуации, когда страна была разрушена и уже себе не принадлежала. Её поделили на четыре оккупационные зоны, каждой управляла одна из стран-победительниц. Такого я в случае России не представляю. Это было бы страшно, и я не думаю, что будет так. Но ситуация в обществе может быть, конечно, похожей.

После событий последних тридцати лет я остаюсь настроенным крайне скептически. Ведь и в Германии есть много людей, которые говорят: «Ах, эта демократия, вся эта болтовня! Всё говорят и говорят, не могут принять решения. Нужен сильный руководитель, который скажет, что нужно делать». В Германии тоже есть такие люди сегодня, и их много. Я думаю, что такой тип людей существует и в России. Возможно, в большем количестве, ведь в России за последние сто лет было намного меньше демократии, чем у нас. В России этот опыт отсутствует почти полностью. Как конкретно будут развиваться события, мы не знаем. Может, плохо, может, хорошо. Но я подозреваю, что будет не очень хорошо. Хаос девяностых — один из примеров. Это был большой хаос.

**— Ваш отец вопреки своей крайне противоречивой биографии был назначен бургомистром, главой города, пусть и очень маленького — Фельдберга. Это выглядит странно. Как так произошло?**

— Да, странно. Был один офицер (фамилию не помню, кажется, Григорий Вайс), который знал писателя Ханса Фалладу, но не знал человека Рудольфа Дитцена. В его воспоминаниях о Германии 1945 года («Утром, после войны». — Ред.) есть короткая сцена, в которой фигурирует Фаллада. Советские власти искали кого-то, кто бы не был обременён связями с нацистским режимом, кто не был функционером, но был известным, имел бы имя. Фаллада был известен в литературе. Но в Фельдберге у него была плохая репутация: он слыл алкоголиком. И он бросил свою жену, семью, оставил их в Карвице. В Фельдберге я,

будучи уже взрослым, всё ещё слышал эти разговоры, эти представления о бывшем бургомистре. Что за ужасные истории там рассказывали!

Но в 1945-м советским властям был просто нужен кто-то на роль бургомистра, и они его нашли. И всё.

— **Как вся эта история закончилась?**

— Плохо. После войны вопросы собственности для многих уже не играли большой роли. Процветало воровство. Люди нищали, в городах было много беженцев, каждый делал то, что считал правильным для себя. Мой отец пытался как-то противостоять этому, заключал провинившихся на два или три дня под арест. Или — что было весьма непопулярным решением — ему приходилось расселять беженцев по домам. Он говорил: «Я знаю, у вас три комнаты. Две из них нужно предоставить в пользование». Таким образом друзей не наживёшь, но он настаивал на своём, а местная полиция подчинялась ему. Я думаю, именно это сломало его. А у его второй жены был доступ к наркотику. Она помогала ему, доставала алкоголь и наркотические вещества, чтобы он мог справляться с работой. Но это помогало лишь в малой степени и ненадолго.

— **Он сам подал в отставку?**

— Нет, не сам. Биографы говорят о физическом истощении из-за общего самочувствия. Он сломался, потому что принимал наркотики и потому что работа стала для него такой нагрузкой, с которой он уже не мог справиться. Он больше не мог и в итоге попал в больницу. Это тоже далось непросто. Больница находилась в Нойштрелице, тридцать километров пути, его везли туда на телеге, запряжённой лошастью. Путь длился пять-шесть часов. Дороги были плохие. А его женой — молодой и действительно красивой женщиной — заинтересовался советский майор. Она не хотела ему поддаваться, она действительно любила мужа, моего отца. И её тоже отвезли в эту больницу, потому что она пыталась покончить жизнь самоубийством.

— **Ханс Фаллада работал в Tägliche Rundschau («Ежедневное обозрение»), в советской газете советской оккупационной зоны. Это было его сознательным решением или он просто не мог найти другой работы?**

— Да, это было полностью осознанное решение, но принятое благодаря Йоханнесу Бехеру, будущему министру культуры ГДР. В *Tägliche Rundschau* платили лучше, чем во всех других изданиях. Бехер посодействовал отцу и позаботился о том, чтобы всё получилось. Мой отец знал, что это русская газета.

— **Советская.**

— Да, советская. Есть разница, я знаю, но тогда все говорили просто «русский» или «русские».

— **Известно ли, как ваш отец относился к советской власти?**

— Этого я действительно не знаю. Не сохранилось никаких высказываний на этот счёт. Я могу, конечно, что-то предположить, но это будут исключительно спекуляции. Я думаю, что ему было ясно: это — победитель. А победитель всегда прав. Может быть, у него и были какие-то критические мысли. Но что он думал, например, о Сталине, я не знаю, и нет ничего, из чего можно было бы сделать выводы.

— **Как повлияло на вашу жизнь то, что вы — сын Ханса Фаллады?**

— Я уже рассказывал, что мать часто говорила, что я должен был соответствовать отцу. При этом она всегда описывала его с лучшей стороны. Это установило для меня высокие стандарты и оказало на меня негативное влияние.

Позже, когда я уже учился и работал в Дрездене, потихоньку взрослел, меня, конечно, часто спрашивали: «Рудольф Дитцен — ваш отец? Это же Ханс Фаллада?» Тогда я обычно отвечал: «Да, это так, но я тут ни при чём». Я дистанцировался от этого, и мне понадобилось несколько лет, чтобы нащупать границу. И только в 1966-м или 1967-м, когда я читал выпущенную в Rohwolt монографию об отце, получилось установить разумную дистанцию. Но это уже было время, когда я выбрал профессию, и осознанно выбрал нечто техническое. Я знал: если бы я попытался заняться писательством, примеру отца я бы никогда не смог соответствовать.

И только когда я стал успешным в своей профессии, когда я смог выносить собственные суждения, я смог просто

признать это и сказать: «Да, это мой отец. Но я — Ахим Дитцен». Сказать: «Да, это мой отец, но я слишком плохо знал его». Я впервые «познакомился» с писателем Хансом Фалладой, которого вообще-то звали Рудольф Дитцен, намного позже. Но я не знаком с ним как с Дитценом, и это важно. Я должен сказать, что я не могу проводить границу между Дитценом и Фалладой, он ведь тоже её чётко не очерчивал; всё, что происходит в его жизни, говорил он, в итоге находит место в книгах. Для меня главный герой — Ханс Фаллада, хотя его на самом деле зовут Рудольф Дитцен, но «отец» не играет в моей жизни какой-либо роли. Как будто у меня не было отца.

**— Часто ли вы разговариваете с членами семьи о Рудольфе Дитцене?**

— С женой — периодически. С дочерьми скорее редко, им интересна их бабушка, Анна Дитцен, которую они застали в детстве. Мы редко видимся, при встречах другие темы важнее. Но у меня уже нет больше страха перед этой темой. Раньше я чувствовал себя скованным, не мог об этом говорить, но сегодня могу.

**— Что молодое поколение вашей семьи думает о родственных связях с Рудольфом Дитценом (Хансом Фалладой)?**

— Рудольф Дитцен не сыграл в их жизни никакой роли, для них он в ещё большей степени, чем для меня, фигура из семейной истории. Для увековечивания памяти и заботы о его книгах было создано Общество Ханса Фаллады, которое обслуживает музей в Карвице, в доме Рудольфа Дитцена. Музей получился очень красивым, дом находится в фантастическом месте. Обе мои дочери состоят в этом обществе, и я сам тоже, а вот внуки пока нет. Десять-одиннадцать лет я был членом правления, издавал в качестве главного редактора журнал общества. Поэтому я знаю, сколько работы стоит за тем, чтобы результаты того, что делает общество, были видны в Карвице. Мои дочери принимают связь с Фалладой, пусть даже на расстоянии.

Для моих внуков это уже слишком далёкая история. Да, играет роль и то, что у них другая фамилия, не Дитцен. Общество Фаллады пытается, конечно, оставаться в контакте

с нашей семьёй. Меня взяли в правление не только потому, что я этого хотел, но и потому, что это было почётно для организации: если в Обществе Фаллады есть кто-то по фамилии Дитцен, это хорошо для внешних связей. Но нет преемника, который бы сразу пошёл по моим стопам. Обе мои дочери так заняты работой и своими семьями, что для них это исключено. Но мы остаёмся членами общества. У моей младшей дочери уже нет внутренней связи с Фалладой, и у неё, увы, нет своих детей. Пару лет назад в Карвице собрались обе мои дочери и внуки со своими жёнами. Это было моё пожелание. Я, конечно, провёл их по дому, всё рассказал: и официальную часть, и то, что я сам ещё помню о своём детстве и о семье. Им это понравилось, но это, конечно, не причина для того, чтобы активно участвовать в делах Общества Фаллады. Но мы говорим об этом.

— **Есть ли у вас связи в мире литературы?**

— Да, но немного. Председатель Общества Фаллады — Михаэль Тётеберг — человек, который тоже играет определённую роль в литературе. Он писатель, автор, связан также с кинематографом. И сейчас он уже несколько лет возглавляет Общество Фаллады. Он написал, в частности, книгу «Последняя любовь Фаллады» — о том, как создавался роман «Каждый умирает в одиночку». Издательство представило эту книгу как роман, но вообще-то это документальная проза. Это все мои литературные связи, других нет.

— **Расскажите про Общество Ханса Фаллады, пожалуйста.**

— Оно существует с 1983 года, по-моему. Во времена ГДР подобные общества находились под запретом. Тогда это был круг друзей, а не общество, просто группа людей, которые собирались в рамках Культурного союза (*Kulturbund*), это была организация для осуществления культурной деятельности в ГДР. Тогда группа — пятнадцать-шестнадцать человек, интересующихся Фалладой — собиралась раз в год. Они проводили выездные мероприятия — ездили в Грайфсвальд или в Рудольпштадт, где какое-то время жил Фаллада, или в Лейпциг, где он жил с родителями. И в 1991 году, после воссоединения Германии, эта группа создала общество.

Сегодня Общество Фаллады управляет музеем в Карвице — независимо, но в сотрудничестве с коммуной; вместе с ней общество перестроило дом Рудольфа Дитцена и создало музей. Это было сложное, но очень успешное сотрудничество. Мне и брату было очень приятно наблюдать, как дом превращается в привлекательный музей, как серое здание, нуждающееся в ремонте, снова становится красивым домом, каким он был во времена моего отца.

— **Когда вы начали принимать участие в деятельности общества?**

— В восьмидесятых я не принимал участия во встречах этой группы, потому что был полностью загружен работой. А потом группа превратилась в общество. Поначалу оно насчитывало 25-30 членов. Нас с братом пригласили в общество, и мы как сыновья Фаллады, конечно, сразу же, в 1991-м, в него вступили. Это был наш долг перед отцом, но мы и сами хотели это сделать. Примерно десять лет я только время от времени принимал участие в мероприятиях. Мой брат Ульрих регулярно делал что-то: писал отчёты, проводил чтения, что-то дарил обществу из наследства Фаллады.

В 2004 году я вышел на пенсию, и по случайному совпадению в журнале общества, он называется «Салатный сад» (*Salatgarten*), тогда же вышло объявление, что ищут нового главного редактора. Я тут же написал, что меня может заинтересовать эта должность. Члены общества были в восторге от того, что на этот пост заступит сын Дитцена. Одиннадцать лет я с большим удовольствием занимался «Салатным садом». Через год после начала работы мне стало ясно: быть главным редактором — хорошо, но нужно ещё и состоять в правлении, чтобы получать всю информацию о планах общества и так далее. И тогда меня приняли в правление, где я состоял до 2015 года.

В итоге я ушёл с этой работы, потому что решил опубликовать свою книгу. Я понимал, что не смогу заниматься и тем и другим параллельно. В 2015 году мне исполнилось семьдесят пять лет, и я ушёл с поста главного редактора.

— **Что публикуется в журнале «Салатный сад»?**

— Журнал рассказывает обо всём новом, что связано с

Фалладой: о научных университетских работах, литературных публикациях, архивных находках. Разные статьи, новые мнения, изыскания. Всегда удивительно, как много нового появляется в отношении Ханса Фаллады. Есть рубрика, в которой обсуждаются вопросы, касающиеся Общества Фаллады, рассказывается о работе музея. И есть литературная часть, в которой представлены тексты других авторов. Объём журнала сейчас около восьмидесяти страниц, это неплохо.

**— Сколько человек сейчас входят в Общество Ханса Фаллады? И как обстоят дела с вашим домом в Карвице?**

— В начале 2000-х нас было около сорока человек. А сейчас — триста тридцать, это хороший прирост. Многие вступают в общество, будучи знакомыми с книгами Фаллады, после посещения Карвица.

Было потрачено очень много денег на реконструкцию усадьбы Фаллады. Дом очень хорошо отреставрировали. Тогдашний директор музея, бывший учитель, был настоящим почитателем Фаллады. Он был активным и восторженным, следил, чтобы по возможности каждая деталь была воссоздана с исторической достоверностью. И дом со временем стал очень красивым, вокруг тоже всё ухожено: например сад, который вырастила моя мать, ульи или лодочный сарай, который строил отец. У музея много посетителей — сейчас примерно 14 тысяч в год.

**— Все ли тексты Ханса Фаллады опубликованы?**

— Я думаю, что теперь вышло уже почти всё, включая газетные тексты. Но есть один пробел. В 1943–1944 годах Фаллада, судя по всему, написал антисемитский роман, который известен под названием «Кутискер». [Иван Барух] Кутискер был еврейским банкиром во времена Веймарской республики. Поданная Геббельсом идея заключалась в том, чтобы на примере судьбы Кутискера показать, что евреи — плохие люди и виноваты во всём. Но Фаллада позднее сказал своей секретарше, которой он тогда диктовал роман: «Вы же не верите в то, что Ханс Фаллада пишет антисемитский роман? Если Ханс Фаллада напишет антисемитский роман, он будет анти-антисемитским». И он полагал, что способен справиться с этой задачей. Он думал,

что справится. Но кроме этого высказывания от этого романа ничего больше не осталось. Если когда-либо и существовала рукопись или машинопись, вероятно, бумаги были утеряны в последние месяцы войны. Ничего нет, никто не читал этот роман, есть только смутные намёки. Было бы очень интересно, если бы кто-то вдруг что-то нашёл по этой теме. Ведь может быть, что где-то он ещё сохранился. Фотокопий, как сейчас, тогда не было, были только машинописные копии.

— **Ваш отец поначалу всё писал от руки?**

— Да, и только когда он заканчивал какой-то текст, он надиктовывал его машинистке. Но нет ни рукописных, ни других черновиков романа «Кутискер». Существовал ли этот роман когда-либо, мы не знаем.

— **А откуда вообще известно об этом романе?**

— Он получил заказ на эту книгу от Геббельса — или из Министерства пропаганды, или от кого-то ещё из Третьего рейха. Он долго откладывал его написание, это упоминается в письмах. И есть высказывание, что он диктовал его своей секретарше. После войны, в 1946 году, она жила в Западном Берлине, а он — в Восточном, он у русских, а она — у американцев. И она донесла на Фалладу: написала статью, в которой выступила против того, чтобы этот человек теперь воспитывал немецкую молодёжь и говорил ей, что правильно, а что нет, а он-де хотел в 1944-м написать антисемитский роман!

Больше ничего об этом неизвестно. Но я всё ещё жду, что какой-нибудь архив в Германии или где бы то ни было ещё вдруг объявит: «Мы тут кое-то нашли!»

— **Кому принадлежат права на тексты Фаллады?**

— Сейчас уже никому, так как прошло более семидесяти лет после его смерти. А до 2017 года они принадлежали издательству *Aufbau*. Оно приобрело права на часть текстов в середине 1940-х, после войны, а остальные — в 1990-х.

— **Важна ли для вас литература того времени, появившаяся сразу после войны?**

— Частично да. Но не вся. Я читаю послевоенную литературу, но сейчас не могу сказать, много ли. Я читал Борхерта, к примеру. Но многое для меня более не актуально, пусть и

представляет интерес с исторической точки зрения. У нас сегодня другие проблемы.

— **Какой текст отца вам наиболее близок или важен?**

— «Волк среди волков». И переписка с моим братом, которая велась со времени его учёбы в Темплине в 1940-м до самой смерти отца. Эти письма были изданы в книге под названием «Мой отец и его сын» (*Mein Vater und sein Sohn*). Это прекрасная книга. Ведь я не мог переписываться с отцом, я был слишком маленьким. А брат был на десять лет старше, и он в возрасте от десяти до пятнадцати лет переписывался с отцом. Это оставило во мне большой след. Мой брат рассказывал позже, что потерял отца в 1946–1947 году, когда увидел наркомана, погрузившегося в беспорядок и хаос. А потом отец вдруг умер, а его сыну, моему брату Ульриху, пришлось из интересного Берлина возвращаться в совершенно скучный Нойштрелиц. И это было так ужасно для него, что он говорил, что отец предал его, бросил его. И брат говорил, что благодаря этой переписке он вновь обрёл отца. Так он написал и в предисловии. Я могу это понять. Это прекрасная переписка, и мне грустно, что у меня не было такой.

— **Как бы вы кратко описали своего отца? Какой личностью он был?**

— Я всегда думал: как отец мог писать такие книги, а я — нет? Но я прожил спокойную, почти «бюргерскую», простую жизнь. А жизнь моего отца была полна взлётов и падений, катастроф, различных жизненных ситуаций. Это основная часть его жизни: то вверх, то вниз. А время, которое он провёл в Карвице, — всего одиннадцать лет — было самым счастливым и продуктивным временем его жизни, хотя за каждый написанный им роман он платил физическими травмами и пребыванием в больнице. И это о чём-то говорит. Я вижу его как человека, бывшего не в ладах с самим собой, но с талантом, который он всё-таки мог реализовать. Но он был несчастным человеком. Я думаю, он также и страдал от своего дара. Талант давал ему много хорошего, но он был для него и навязчивостью, давлением.

— **Можно ли его назвать трагической фигурой?**

— Думаю, да. Трагической — из-за собственного характера, из-за собственных желаний и течения событий, на

которое он иногда мог влиять, но часто не мог. Другие люди легче проходили через исторические отрезки, а он... Иногда я думаю о том, как он пережил конец Первой мировой войны и двадцатые годы, а потом и Вторую мировую, — это были сплошные перепады, то вверх, то вниз. И было только шесть сравнительно спокойных лет — в промежутке между 1933-м и 1939-м. Нормальный человек это едва ли может вообразить. 

**Беседу вёл Григорий Аросев**  
**Перевод Ольги Хорн и Григория Аросева**

## Аннели Бахмайер:

### «Грин был кем угодно, но только не советским образцовым писателем»

МОНОЛОГ

*В 2022 году в издательстве Vandenhoeck-Ruprecht вышла книга *Fremdes schreiben — fremdes Schreiben. Konzeptionen von Alienität (in) der Prosa Aleksandr Grins* («Писать о чужом — чужое письмо. Концепции постороннего в прозе Александра Грина»). Автор книги, Аннели Бахмайер, славистка, работающая в Дрезденском университете, рассказала для читателей «Берлин.Берега» о своём интересе к текстам Александра Грина и об истории создания книги. Приводим её рассказ от первого лица.*

Родственных связей в русскоязычном мире у меня нет. Строго говоря, я очень мало соприкасалась с русской культурой и очень мало знала о ней, пока не занялась славистикой. Но именно поэтому я и решила учить русский язык — это должно было открыть мне новый мир. Так и произошло. А ещё я поняла, что большая часть моих однокурсников происходила из восточно- или центральноевропейских семей. В школе я учила английский, испанский и латынь, позднее выучила польский, французский, идиш, а также немного украинский и чешский в университете.

Я получила степень бакалавра в области русистики, полонистики и сравнительной культурологии в Университете Регенсбурга. Затем я пошла в магистратуру восточноевропейских исследований, которую совместно предлагают Регенсбургский университет и Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана. Это означает, что, хотя я была зачислена в Регенсбурге, я также могла посещать лекции в Мюнхене.

Впервые об Александре Грине мне рассказал научный руководитель, профессор Вальтер Кошмаль, когда я искала тему для кандидатской диссертации. Профессор сказал мне, что в случае Грина есть ещё много неисследованного, и его оценка

была абсолютно верна: чем больше я занималась работами Грина, включая их восприятие, тем интереснее и сложнее становилась тема и тем масштабнее получалась исследовательская работа.

В этом случае всё моё внимание было сосредоточено на Александре Грине — другие писатели играли второстепенную роль. Однако в прошлом я интенсивно занималась и другими авторами, например Осипом Мандельштамом. Сейчас я работаю над проектом по польской литературе и литературе на идише, изучая в том числе Витольда Гомбровича, Янину Суринову-Вычулковскую и Иосифа Округного.

У меня сложилось впечатление, что Грин — по историческим причинам — в основном известен в Восточной Германии и среди поколения, выросшего в ГДР. Большая часть длинных прозаических произведений Грина и несколько десятков его рассказов переведены на немецкий язык. В ГДР в основном публиковали их с предисловием или послесловием, где представлялось «социалистическое» прочтение жизни и творчества Грина. Например, так поступало издательство Kiepenheuer (Лейпциг/Веймар). Однако публикаций западно-германских издателей также было немало.

Вероятно, самое популярное произведение Грина в Германии — то же, что и в России, «Алые паруса». Его даже несколько раз переводили на немецкий язык под разными названиями (*Die purpurroten Segel*, *Das Purpursegel*, *Rote Segel*). Однако это совершенно не идёт ни в какое сравнение с огромной популярностью этого произведения в русскоязычном мире. К сожалению, многие тексты Грина, особенно его рассказы, не имеют шансов на известность в Германии, потому что их до сих пор нет в немецком переводе, а значит, они недоступны для большинства жителей Германии. Очень жаль, что так.

В своей книге я смотрю на писателя Грина следующим образом. На первом этапе я прослеживаю, как Грин стал автором «романтических детских и юношеских книг» — то есть тем, кем он считается сегодня. При жизни Грин отнюдь не воспринимался литературоведами только как романтик и уж тем более не считался автором для юных читателей, поскольку насилие и жестокость находятся в центре многих его текстов. Его творчество включает в себя целый ряд различных жанров

и тематических поворотов, так что классификация Грина как романтического автора вовсе не так очевидна, как может показаться сегодня.

Скорее всего, только после его смерти, с середины 1930-х, а затем и ещё раз, с середины 1950-х, Грина «превратили» в романтика советская литературная критика, а также, что немало важно, некоторые его коллеги-писатели, в том числе его преданный поклонник Константин Паустовский. Это было необходимо, потому что с его «экзотическими» местами действия и подчас фантастическими темами, совершенно не соответствующими требованиям социалистической литературной политики, Грин на самом деле был кем угодно, но только не советским образцовым писателем, и, вероятно, вскоре был бы забыт по политическим причинам. Однако, сосредотачиваясь почти исключительно на тех произведениях Грина, в которых положительный герой вопреки всему борется за свою мечту (или со «злом») и в итоге побеждает, Грина «превратили» в автора всего самого прекрасного и доброго, чьи тексты предназначены для воспитания советской молодёжи, представителям которой предназначено стать хорошими и активными советскими гражданами.

Во второй части книги я показываю, что такой взгляд на Грина не отражает всего его творчества. Я анализирую многочисленные малозвестные рассказы Грина, которые явно противоречат устоявшемуся «романтизированному» образу автора и иллюстрируют избирательность этого образа. Я также показываю, насколько сложны произведения Грина: в них содержание, язык и элементы повествования образуют искусно переплетённое целое, которое часто становится очевидным только после многократного прочтения. Это высокое литературное качество утеряно из-за концентрации на аспектах содержания (также очень ограниченных) и, не в последнюю очередь, из-за того самого ярлыка «детской и юношеской литературы». В своей книге о Грине я предлагаю читателям заново открыть для себя этого восхитительного автора.

Всего я включила в свой анализ более 130 произведений Грина, в основном это рассказы. «Алые паруса» и «Бегущую по волнам» я намеренно задеваю лишь по касательной, потому

что это самые известные и комментируемые работы Грина, а я перемещала фокус внимания на его менее известные тексты. Среди рассказов, которые я подробно разбираю в своей книге, «Рассказ Бирка», «Ночью и днём» и «Зелёная лампа».

Работа над книгой заняла несколько лет. За это время я провела исследования в архиве Дома-музея А. С. Грина в Феодосии, а также в Российском Государственном архиве литературы и искусства в Москве. В обоих архивах я изучала письма, рукописи, газетные статьи и подобные источники, которые, помимо опубликованных текстов, предоставили мне важную информацию о жизни и творчестве Грина. Книга была опубликована в июне 2022 года, а в июле отмечалось девяностолетие со дня смерти Грина — однако это чистое совпадение, хотя и очень уместное.

Я не думаю, что в немецкой литературе есть автор, похожий на Грина — точно так же, как Грин остаётся своеобразной фигурой в истории русской литературы и не может быть причислен ни к одному из литературных течений или групп своего времени. Конечно, есть отдельные аспекты, которые связывают Грина с другими писателями немецкоязычной литературы. Фантастическое начало и гротеск играют важную роль в текстах Грина, что позволяет провести параллели с Гофманом, а частое возникновение у Грина необъяснимых ситуаций и нереальных, онирических обстоятельств напоминает Кафку.

Сложно сказать, смогла бы я общаться с Грином, если бы мы жили в одно время. Меня в первую очередь интересовали его произведения, а не его личность. Но то, что я знаю из рассказов его знакомых — например писателей, с которыми он общался в Петербурге/Петрограде, а иногда даже жил вместе — что у Грина, вероятно, был довольно непростой характер. Его считали одиночкой, часто неприветливым и неразговорчивым. Даже в письмах Грина и других источниках о его личности, которые я читала, я не всегда нахожу его особенно симпатичным. Так что я скорее сомневаюсь, что завела бы более близкое знакомство или даже дружбу с Грином как с человеком. Но мне бы очень хотелось лично поговорить с Грином-автором о его творчестве, потому что оно действительно увлекательно. 

Даша Эдлер

## Каталогизация памяти

Katja Petrowskaja. *Das Foto schaute mich an. Kolumnen.* Suhrkamp Verlag, Berlin 2022.  
ISBN 978-3-518-22535-6

Вторая книга берлинской писательницы Кати Петровской продолжает линию первой, *Vielleicht Esther* («Кажется Эстер», 2014), во многих направлениях. И хотя название её менее абстрактное, чем в первой книге, содержание тут требует весьма обширного объёма ассоциативного мышления и восприимчивости.

Катя Петровская — писательница, эссеистка, журналистка, литературовед. Долгое время ведёт колонку во *Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung*, и, собственно, из этой колонки и выросла эта книга. *Das Foto schaute mich an* («Фотография смотрит на меня») состоит из пятидесяти семи текстов к фотографиям, и параллельно с разглядыванием снимков Петровская постепенно рассказывает и свою историю, начатую в *Vielleicht Esther*.

Получив и пролистав книгу в первый раз, я подумала: «Всего лишь тексты к фоткам?!» Сложно писать о книге-наборе эссе, причём не на одну определённую тему. Всё, что объединяет эти эссе, — это личность автора; она же даёт им жизнь. (Будто это действительно возможно.)

Однако, прочитав всего два или три текста, я поняла, что *Das Foto schaute mich an* — это целое культурологическое исследование, и в то же время отчёт. Пятьдесят семь фотографий выстроились в непоследовательный, но увлекательный с антропологической точки зрения эксперимент. Исторические события перетасованы с личными, ведь и то и другое и есть *то и другое одновременно*, будто говорит нам Петровская между строк. Так, Пражская весна 68-го приобретает для меня лицо пожилого человека с оттопыренными ушами на фоне развалин, а холокост польских евреев — лицо первоклашки со школьным кульком.

Если долго смотреть на фотографию, из неё начинают лезть черви, от персонажей рябит в глазах, как в трёхмерном кино без очков; иногда на фоне играет музыка, иногда — тишина.

Сколько всего можно увидеть в одной снимке! На одной из фотографий мы видим девушку в белом, касающуюся лебедя на чёрном фоне. Как корни под землёй, далеко и слепо расползаются в стороны попытки автора нащупать словами ощущение оголённости и стопроцентного присутствия, интим, если хотите: читая, испытываешь неудобство, будто подсматриваешь за утренним туалетом молодящейся женщины (парижанки?), совсем не соответствующей общим представлениям о её высококультурной жизни, но отвернуться нельзя — о, простите, мадемузель, чёрно-белый кофе и сигареты, шахматная плитка, лебедь, плечи и карандашный набросок. Петровская шёпотом философствует о пост-пост-пост-чего-то-там мире, но в итоге возвращается к исконному, к созерцанию. Это эссе просто гениально, как гениален и сам снимок двадцатилетней Франчески Вудман, и то, как автор влетает биографию фотографа так, что всё вдруг обретает другой, трагичный и банальный, смысл.

На другой фотографии мы видим «летающую бабушку» (и это не фантазия как раз, а реальность!), и сразу становится понятно, что писать о том, что она знает и любит, Петровская действительно умеет. В каких горах летит бабушка? Кавказ? «Ночью, во сне, Эльбрус (5642 м) превратился у меня в Эверест (8848 м), вероятно, из-за буквы „Э“, а может, и потому, что я ничего не понимаю в горах, но зато много понимаю в бабушках и их суперсилах. От советских бабушек можно ожидать чего угодно, даже покорения Эвереста — и, пожалуйста, не забудьте о губной помаде»<sup>1</sup>. В конце эссе оказывается, что, скорее всего, это был курорт в Нальчике.

Выход первой книги Кати Петровской *Vielleicht Esther* (2014) совпал по времени с крымскими событиями; выход второй, *Das Foto schaute mich an* (2022) — с нападением России на Украину. В послесловии второй книги она признаётся, что начала писать колонку и рефлексировать, подолгу разглядывая фотокарточки, «от бессилия перед насилием», чтобы «выступить

---

<sup>1</sup> Здесь и далее вольный перевод Даши Эдлер.

против войны, ища голос». Пятьдесят семь эссе были написаны в трёхнедельном ритме вальса в промежутке между маем 2015-го и октябрём 2021-го. Таким образом, книга хоть и не повествует о войне, но где-то на кромке сознания, в уголке зрения, дыша в затылок, начинается, разворачивается и не заканчивается война. Мы видим два фото Крещатика: одно из 1986-го, когда там проходила первая велогонка мира, а другое — из 1943-го, на котором мы видим Майдан и руины Думы. И дважды мы вспоминаем историю, которая уже не просто зловещее воспоминание о чём-то свершившемся и забытом, похороненном. Всё это живо и актуально до сих пор.

Это книга судеб, размышлений; в ней чего только не увидишь; по ней, как по картам Таро, можно гадать. Только колода Петровской — это разрозненные фотографии, перемешанные по ей одному ведомому плану; фотографии людей, мест; остановившееся время и всегда прошлое, молчаливое, смотрящее в глаза и ничего не выдающее. Почти в каждом тексте присутствует круг, и в конце мы обязательно возвращаемся к началу (подобрав по пути немного морали). Перед тем как начинать читать, я стала сама внимательно всматриваться в фотокарточки, пытаюсь угадать, о чём будет говориться в тексте (спойлер: обо всём и даже больше). Бальзамом на кавказскую душу стало эссе о «Каспийском море, которое вообще-то и не море, а самое большое озеро в мире, удалённое от родителя-океана, отгороженное, запёртое на континенте. Не понятая, но всё что-то сулящая сущность».

Петровская философствует о каждом фото так, что любая сценка, на первый взгляд нас не касающаяся, становится релевантной, важной, имеющей к нам самое непосредственное отношение. Это и рассказ о неземной девочке Саманте (она же берущая на себя ответственность за мир восьмидесятых Грета Тунберг), и рассказ о последних в своём городе евреях Саре и Рафаэле (которые теперь должны представлять весь исчезнувший мир их предков), и размышления о судьбе пожилой Валентины, живущей в окружении дешёвых репродукций и пластиковых пакетов, в нищете и изоляции ещё в допандемийные времена. «Ты катапультируешь в чужой сон, в чужие мечты и воспоминания,

и вдруг и сама будто вспоминаешь обо всём этом, будто это твои сны и есть». Ведь то вечное, что нас объединяет и разъединяет, — это память.

*Das Foto schaute mich an* — это сделанная с бесконечным любопытством и потрясающим художественным вкусом каталогизация последних ста лет для всех, кто родился и вырос на евразийском цивилизационном стыке. В то же время автор документирует и «антропологические сдвиги». В серии фотографий Наташи Нишич, сделанной задолго до пандемии, главную роль играют руки, жесты, собранные наподобие «разнообразностей растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения в наше цифровое время».

Петровская задаётся риторическими вопросами, которые резонируют у всех, кто склонен к саморефлексии. В подписи к серии *beyond* Лореданы Немес, в которой мы видим фотографии «завуалированных мужчин», просвечивающих из-за занавесок кафе, она артикулирует весьма актуальный вопрос из сферы интеграции, глобализации и терпимости: «Может ли человек смотреть свободно, если его самого невозможно разглядеть?»

В своих фоторассказах Петровская создаёт особый жанр, в котором сливаются воедино публицистика, автофикшн, историческая проза и поэтическая абстракция. На срединном развороте книги бросается в глаза лозунг «За вашу и нашу свободу» из 1968-го. Это фото «будто артефакт из каменного века», единственный свидетель протестов восьми человек (среди которых — Наталья Горбаневская с трёхнедельным сыном Иосифом), вышедших на Красную площадь после Пражских событий и сумевших простоять там всего несколько минут. «В России, — пишет Петровская, — есть традиция сопротивления, которая ставит вопросы чести и совести без оглядки на возможный успех... Декабристы чувствовали себя несвободными и недостойными по отношению к крепостным, которыми сами же обладали, а советские шестидесятники чувствовали себя несвободными и недостойными в стране, подавляющей другие страны. Вот так проста эта почти утраченная логика совести».

«Я хотела притормозить инфляцию картинок, — пишет Петровская в послесловии, — не во всемирном масштабе, а

для себя, чтобы погрузиться в наблюдение как в медленный, несколько старомодный процесс». В ужасе перед кошмарами войны фотографии стали прибежищем и утешением Петровской. «Они выкристаллизовывали невыразимое, слепляли воедино фрагментарное, создавали иллюзию покоя и красоты». В тексте «Вытоптанная земля» к военной фотографии с деревом на фоне дымящегося дома автор сравнивает живое, растущее дерево с деревом горящим, уже мёртвым, круговорот природы — с круговоротом войны.

«Война, — пищет Петровская, — заглушает наши тихие голоса». На фотографии шахтёра из Донбасса всё, что мы видим, затуманено дымом от его сигареты. Паузы на перекур — это паузы от работы, которая, даром что недооплачиваемая, всё же лучше, чем война, ведь «война абсурдна, а работа — это мир».

В книгах Петровской мы, по следам Итало Кальвино, упражняемся в искусстве воспоминания, заодно размышляя о его хрупкости и универсальности. И, как и Кальвино, Петровская с интересом и зачастую с удивлением исследует тонкую грань между памятью и воображением, то, как прошлое вторгается в настоящее, и то, насколько подвижна черта между художественной и документальной литературой. «Мы ничего не можем знать, мы даже не можем многое вспомнить. Мы можем только представить» (Роберт Уайндер).

В самом названии книги содержится неоднозначность. Кто на кого смотрит? Видим ли мы фотографию? Людей на ней, то, что запечатлено? Себя, свои мысли? Идеи фотографа? На английском слово «фотографировать» омонимично слову «стрелять». В каком-то смысле получается, что фотография и есть выстрел — во времени, в пространстве, но главное, в памяти. Петровская добавляет: и в воображении. «Каждое фото — это фрагмент целого мира, вырванный из времени и пространства. Мы можем видеть только этот фрагмент, который пытается выдать себя за целый мир или за значительную его часть... Каждое фото таит в себе непостоянство. Ничто не будет таким, каким было в этот увековеченный момент». Далеко не в каждом тексте есть ответы на все вопросы, но своей удивительной способностью подмечать микродетали Петровская приводит

взгляд на фотографию в равновесие, объясняет, заговаривает скоротечность времени, миг снимка и вечность, нас, смотрящих на него. В книге есть и фотографии Петровской, сделанные ею на телефон. На одной мы видим маленькое облачко — «На целом небе было оно одно, лёгкое, как пёрышко, могущественнее солнца, колыбель для моей души», на другой — лошадь в кустах, смахивающую на единорога, и тут же — «тревожный момент, будто и неясно, кто о ком мечтает, кто кого видит во сне».

Не мучаясь поисками решения всех мировых проблем, Петровская интересуется трансцендентной сущностью человека. В фотоколлаже «Человек как возможность» она видит в одном лице весь мир, все лица одновременно: «Человек видится мне как комплексная и нередуцируемая смесь из реального и вымышленного — как минимум в искусстве». Её привлекает и амбивалентность взаимодействия человеческого и материального, эта «археология повседневности» на примере отходов: «Мы производим мусор, но и сами истлеваем, сами станем отходами».

Неоднозначность привлекает её. Деревья — также важный символ в её мифологии. В тексте к фотографии Йозефа Брайтенбаха (датируемой то ли 1939-м, то ли 1945 годом) она пишет: «Это ли дерево жизни или дерево смерти?» На историческом снимке дерево опутано светящейся гирляндой — это то ли рождественская подсветка, то ли таинственное звёздное небо, то ли карта взрывающихся в темноте бомб.

Петровская не просто рассматривает фотографии — она рассказывает обо всём на свете, делится, вспоминает, утешает (себя) и отчаянно пытается избежать окончательности. Тут мы видим снимок начала 1900-х из приюта для пожилых немущих людей, на котором мужчина занимается выделкой игрушечных деревянных уток. «Всматриваясь в его лицо, вдруг замечаешь сходство с этой уткой; и то, как пять закруглённых линий на её спинке повторяют закруглённость пяти пальцев Уильяма, свидетельствуют о том, что всё на свете лежит в руках человека».

Это книга о надежде. Петровская отчаянно ищет знаки, что в этом мире ещё не всё потеряно и что у нас ещё есть шанс научиться на ошибках других и исправить/ся. (спойлер:

но увы!). Мы читаем о Чернобыле, о перестройке, о падении Берлинской стены, о сталинских репрессиях, о движении за гражданские права в США, об одержимости технологическим прогрессом в СССР, о современной экологической катастрофе, и ненадолго нас охватывает иллюзия власти над временем, иллюзия возможности запечатлеть в искусстве то, что нужно скорее отбросить, то, что мешает двигаться дальше вперёд.

Редко какая книга содержит в себе такой концентрат информации об эмоциональной памяти целого века, трёх (четырёх?) поколений. Петровская с фантастической эмпатией запечатлевает двадцатый век и его ураганные последствия со всей его жестокостью, позором и человеконенавистничеством. Проза Петровской поэтична в самом щедром значении этого слова. Чтение этих эссе доставляет удовольствие, как доставляет удовольствие хорошая игра в шахматы. В них и интеллектуальное наслаждение, и эмоциональное, в которых и бережливость собственной памяти, и образное изобилие в том, насколько непредсказуем (и в то же время предрешён самой картинкой) каждый следующий ход мысли, каждый следующий шаг этого вдумчивого танца с самой собой. Прочтя книжку с начала до конца, по хронологии страниц, обьяв необъятное, замедлив дыхание, я задалась вопросом, которым задаётся и Петровская: «Но в какую сторону течёт время?» 

Майя Салихова

## **История «Берлинале» — хроника, имена, звёзды, сплетни**

*Алексей Дунаевский. Берлинале. Неофициальная история премии. М., Т8, 2020, 620 с.*

*ISBN 978-5-517-01825-0*

На фоне культурной пестроты берлинской жизни уже семьдесят лет выделяется ежегодное событие поистине глобального масштаба, которое на десять февральских дней подчиняет себе ритм жизни города и которого с нетерпением ждут не только сами берлинцы, но и ценители кинематографа по всему миру — кинофестиваль «Берлинале». Для синефилов и профессионалов в области кинематографии российское издательство «Пальмира» в 2020 году выпустило объёмную монографию «Берлинале. Неофициальная история премии», всесторонне освещающую историю фестиваля от момента возникновения идеи до наших дней.

Автор монографии — 60-летний Алексей Дунаевский, кинообозреватель, журналист, киновед, с обширным опытом работы в области кинокритики и кинопроизводства. С 1987 года работает в газете киностудии «Ленфильм», пять лет проработал в качестве пресс-атташе его фестивального бюро, с начала 1990-х сотрудничает с журналом «Сеанс», автор издания, посвящённого возникновению звукового кино, и редактор сувенирного альбома «90 лет русского кинотеатра». Что немаловажно, монография о «Берлинале» — третья книга Дунаевского, посвящённая знаковым международным событиям класса «А». Первая книга рассказывала о премии «Оскар», вторая — о Каннском кинофестивале, европейском конкуренте «Берлинале», во многом послужившим ему отправной точкой, ориентиром и одновременно антипримером. Многочисленные сравнения двух этих важнейших кинофестивалей и указания на их специфические особенности — один из ценных аспектов книги.

Открывается монография исторической справкой о ситуации в послевоенном, полуразрушенном и раздираемом четырьмя державами-победительницами Берлине и о возникновении идеи проведения в нём кинофестиваля. Причём автор, родившийся и выросший в СССР, пользуется возможностью где открыто, где завуалированно полить грязью западные страны, включив описания острых политических конфликтов между СССР и США с Великобританией. Не объясняется логическая связь между советской блокадой Западного Берлина, воздушным мостом, искусственным дефицитом продуктов и другими послевоенными событиями и собственно «Берлинале». Тем не менее, в книге красной нитью проходит акцент на тяжёлых отношениях между СССР и странами Варшавского договора, с одной стороны, и условным Западом — с другой, а участию на фестивале советских и российских кинолент посвящена отдельная глава и без того внушительного фолианта.

Во второй части книги читатели узнают об истории случайно родившегося названия, о создателе «Берлинале» — американском офицере Оскаре Марти, а также о первом руководителе оргкомитета фестиваля, немецком юристе Альфреде Бауэре, занимавшем эту должность два наиболее сложных десятилетия. Отдельное внимание уделяется многочисленным финансовым, политическим и маркетинговым трудностям и препонам на пути становления «Берлинале», большая часть которых сопровождала фестиваль вплоть до конца XX века.

Раздел с биографией руководителей и особенно председателей главного жюри, которое, в отличие от Каннского фестиваля, изначально было задумано международным, наглядно представляет, какие люди стояли за принятием решений о присуждении главных призов. Список имён — это поистине высший свет мира кино. При этом их биографии намекают, что речь идёт хотя о прогрессивных, но скорее миролюбиво настроенных деятелях искусства, чьи решения довольно предсказуемы и не вызовут бурных общественных дебатов, как, впрочем, и личности самих председателей.

Утомительно подробно представлены истории всех секций фестиваля, с соответствующими премиями и биогра-

фиями руководителей от момента создания до сегодняшних дней. В некоторых случаях это оправданно, поскольку конкретные личности коренным образом повлияли в том числе на современную структуру и направленность «Берлинале», но в общем и целом сторонний читатель тонет в потоке имён, дат и мелочей.

Треть книги — две сотни страниц — отведены под перечисление всех членов жюри за 69 лет, дебютировавших стран, фильмов-участников и лауреатов главных премий. В каждом году особо упомянуто отсутствие, а с 1974 года, наоборот, участие фильмов из социалистических стран, причём Югославия, до 1964 года регулярно составлявшая исключение из этого правила, и Польша, присоединившаяся к ней в 1964 году, именуются отступницами от бойкота. С 1993 года из всех бывших союзных республик отдельно называются только фильмы из России.

Далее следует аннотированный по годам каталог фильмов, получивших главную награду — «Золотого медведя», с содержанием и перечислением участников съёмочной группы — хотя эту информацию любой желающий может моментально найти в Википедии.

После списка лауреатов основных премий и зачем-то опять всех премированных фильмов, но уже отдельно сгруппированных по странам, и отдельной главы о достижениях фильмов из СССР и РФ — уставший читатель наконец добирается до самой любопытной части — хроники каждого года с описанием разнообразных сложностей, новых решений, скандалов, сплетен, имён звёзд и наиболее напумевших фильмов. Это последняя глава книги.

Основной и очень существенный минус монографии — отсутствие именного списка. На шести сотнях страниц встречаются тысячи имён, большинство из них — внутрифестивальные и не на слуху. В связи с этим нет возможности читать только хронику, необходимо охватить предыдущие четыреста страниц и держать в памяти всех организаторов и участников за все годы, — что невозможно.

Кроме того, в книге полностью отсутствуют ссылки, несмотря на приведённый перечень использованной литературы. Для работы такой глубины и объёма это вызывает по меньшей

мере недоумение. Но в целом автор проделал серьёзную и кропотливую работу, предоставив киноманам и профессионалам более чем исчерпывающий источник информации о жизни второго по значению европейского кинофестиваля за его долгую историю. 

Юлия Лебедева

## Русские берёзы, еврейская эмиграция, азербайджанское прошлое и немецкие будни — всё переплетено

После прочтения хорошей книги иногда хочется посмотреть её экранизацию — слишком уж тяжело бывает расстаться с полюбившимися героями. С фильмами обычно бывает с точностью до наоборот — не слишком хорошая кинокартина может подтолкнуть к чтению оригинала, пробуждая в зрителе желание узнать, что же именно хотел сказать автор.

*Der Russe ist einer, der Birken liebt* («Русский — это тот, кто любит берёзы») — смелое название для фильма в 2022 году, когда даже с кефира «Калинка» убирают изображение собора Василия Блаженного, а любая ассоциация с развязавшей войну Россией кажется нежелательной. Тем не менее, премьера картины именно с таким названием состоялась на Мюнхенском кинофестивале в июне этого года. Вряд ли режиссёрка Пола Бек могла ожидать такого поворота событий, когда бралась за экранизацию одноимённого романа немецкой писательницы русского происхождения Ольги Грязновой, действие которого ни с русскими, ни с берёзами напрямую не связано.

И книга, и фильм рассказывают историю Маши, девушки, эмигрировавшей с родителями из Баку в Германию в разгар армяно-азербайджанского конфликта. Только вот делают они это под разными углами зрения, совпадая, пожалуй, лишь в описании героев и некоторых сюжетных поворотов.

Маша талантлива и дерзка, на всё имеет своё мнение и не упускает случая его высказать. Она бегло говорит на нескольких языках, учится на переводчицу и мечтает о карьере в ООН. Несмотря на свои еврейские корни, Маша дружит с турками и арабами, а в её окружении нет ни одного человека с простой биографией.

А вот дальше истории расходятся.

Фильм рассказывает нам о любви Маши к Эллиасу, её молодому человеку, немцу по происхождению. Его болезнь и последующая смерть становятся отправной точкой Машиного путешествия. Путешествия, в котором героиня будет искать себя в постелях других людей.

Фильм оставляет сумбурное впечатление. Это красивая, чувственная история любви с обилием постельных сцен и эмоциональным накалом. Но при чём тут русские? При чём тут берёзы? И какую страшную тайну, намёки на которую рассыпаны по фильму то тут, то там, скрывает азербайджанское прошлое Маши?

И если немецкий зритель мог и не заметить подвоха, то человеку с постсоветского пространства после просмотра картины будет сложно отделаться от мысли, что режиссёрка так и не смогла разобраться в дебрях нашей загадочной эмигрантской души и оставила от истории о поиске самоидентификации только наиболее очевидную любовную линию.

Чтобы понять, что к чему, приходится обратиться к написанному на немецком языке первоисточнику. Книга читается легко. Подкупает любовь писательницы к коротким предложениям и главам и к манере заканчивать мысль, как бы захлопывая перед носом читателя дверь.

Кроме того, вышедший в 2012 году в Германии и ставший бестселлером роман пробуждает ностальгию по старым добрым временам, когда кризис беженцев ещё не изгнал немецкое общество из рая мульти-культу-иллюзий, и можно было закрывать глаза на то, что истинное отношение к мигрантам проявляется не на фестивале культур, а в коридорах немецких «амтов».

Однако истории о поиске самоидентификации как таковой нет и в романе. Цитируя рэпера Оксимирона, эта книга скорее о том, что «Всё переплетено, море нитей, но потяни за нить, за ней потянется клубок... Всё переплетено в единый моток, нитяной комок...». Недавние соседи могут выбрасывать друг друга из окон, евреи и арабы — друг в друга влюбляются, израильтяне и палестинцы — сообща выступать против из-

раильских поселений, а западные и восточные немцы — не находить общий язык. И нет среди них ни плохих, ни хороших, есть обычные люди, которые пытаются жить свою жизнь в поставленных условиях. Условиях, которые мало кто из них выбирал.

Являясь лейтмотивом и в экранизации, и в первоисточнике, в книге любовная линия вызывает скорее недоумение — слишком неестественны продолжительные страдания Маши по ушедшему возлюбленному, чувства к которому в романе описаны весьма поверхностно, как будто для формальности. Уже с середины книги появляется вопрос, зачем Грязнова заставляет нас читать обо всех этих муках, когда говорить о простых людях со сложными историями, которых Маша встречает на своём пути, у неё получается гораздо лучше?

Стоит ли это читать или смотреть? Ни книга, ни фильм не произвели на меня большого впечатления. А если ваше генеалогическое древо не включает в себя ни одного еврея, то, возможно, впечатления будут ещё более скромными.

Тем не менее, времени, потраченного на чтение, не жаль. Книга пришлась очень вовремя. Она не даёт никаких ответов, а лишь понимание, что, как бы банально ни звучала эта ныне полностью дискредитированная фраза, всё действительно не так однозначно. Нет, безусловно, не в отношении к войнам и убийствам людей. Но в отношении друг к другу. Герои романа из ушедшего прекрасного далека робко напоминают, чтобы за казёнными штампами гражданств и мест рождений мы не забыли видеть прежде всего другого человека. 

Лейли Нариманова

## По-чешски о Москве в Вене

В самый канун двадцатилетия трагических событий в московском Театральном центре на Дубровке, в октябре 2022 года в Чешском центре в Вене показали спектакль «Норд-Ост» по пьесе немецкого драматурга Торстена Бухшпайнера в постановке Лукаша Печенки. Пьеса была написана в 2005 году и сразу получила две театральные премии. С тех пор она переведена на 16 языков и поставлена в 23 странах, включая Россию.

История захвата в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» показана так, как её увидели и почувствовали три женщины, оказавшиеся непосредственными участницами трагедии.

Отрывистые монологи героинь не только вовлекают зрителя в страшную атмосферу тех тревожных дней, обрисовывая происходившее с трёх разных сторон с почти документальной точностью, хронологически выверенно. С исповедальной откровенностью женщины говорят и о себе.

Бухгалтер Ольга из российской глубинки мечтала посмотреть популярный мюзикл вместе с мужем и девятилетней дочкой, откладывала деньги на билеты и радовалась, что всё получилось и они наконец в Москве. Жизнь перевернулась, когда во втором отделении спектакля в зал вошли террористы.

В судьбу Тамары, врача скорой помощи, чеченская война ворвалась гораздо раньше. Вернувшись с той кровавой бойни, её муж беспробудно запил и, не сумев справиться с ужасом пережитого, наложил на себя руки. В тот октябрьский вечер она оказалась на дежурстве и, подъехав по вызову к зданию Театрального центра, узнала, что в зрительном зале находятся её мама и дочь.

Молодая чеченка Зура, потерявшая в той войне мужа и будущее, вошла в здание на Дубровке смертницей в составе террористической группы. «Чёрные вдовы» — так называли таких женщин. Это самый неожиданный и пронзительный персонаж.

Вообще в свете нынешней войны в Украине события двадцатилетней давности воспринимаются особенно остро и несколько иначе, чем тогда. И есть особая примета времени в том, что спектакль о теракте в России по пьесе немецкого драматурга играла в австрийской столице чешская труппа.

Никакого диссонанса не внесло то, что героини спектакля, у каждой из которых есть реальный прототип, говорили по-чешски. Замечательные актрисы Барбара Лукешова, Анна Фиксова и Анетте Несвадбова создали очень достоверные образы. Сочувствие вызывают все: и врач, и заложница, и их дети, и даже чеченская шахидка, которая воспринимается больше как несчастная женщина с искалеченной судьбой. Все три истории заставляют сопереживать и задумываться, отчего мог случиться этот кошмар, унёсший и искалечивший столько человеческих жизней.

Спектакль смотрелся на одном дыхании. В конце зал долго аплодировал стоя. Говорить не хотелось, расходились молча. И мы молча шли домой по вечерним и таким спокойным венским улочкам... 

## Сведения об авторах

**Женя Беркович** (1985, Ленинград). Режиссёрка. Окончила Санкт-Петербургскую Академию Театрального Искусства и режиссёрское отделение Школы-Студии МХАТ (курс Кирилла Серебренникова). В 2022 году номинирована на театральную премию «Золотая маска» в номинации «Драма / Работа режиссёра» за спектакль «Финист Ясный Сокол». Сотрудничает с многими государственными и негосударственными театрами и театральными компаниями России. С 2018 года — создательница и художественная руководительница независимого театрального проекта «Дочери СОСО». Живёт в Москве.

**Ольга Брагина** (1982, Киев). Поэт, прозаик, переводчик. Окончила факультет переводчиков Киевского национального лингвистического университета. Автор книг «Аппликации» (2011), «Неймдроппинг» (2012), «Фоновый свет» (2018), «Речь похожа на карманный фонарик» (2020), «Призмы плеромы» (2021), «Пеликань» (2021). Публикации в журналах «Воздух», «Парадигма», «Сноб», *TextOnly*, «Контекст», «Новая Юность», «Интерпоэзия», «Волга», «Двоеточие», «Цирк “Олимп” + TV», альманахе «Артикуляция», на портале Litcentr и других. Перевела на русский язык сборник Джона Хая «Акты исчезновения» (лонг-лист премии «Мастер»-2019), Кэти Феррис «Лёд для меня» (2021). Стихи переведены на двадцать языков. В 2022 году жила в Германии.

**Екатерина Васильева** (1974, Ленинград). Занимается научными исследованиями в области современной культуры и теории литературы. Автор ряда прозаических произведений, в том числе романов «Камертоны Греля» (2011) и «Сон Гермафродита» (2015). Автор книги *Fantasie an der Macht* о политике и литературе в сегодняшней России (2021, изд. Matthes & Seitz). В Германии с 1992 года. Живёт в Берлине.

**Дмитрий Драгилёв** (1971, Рига). Поэт, музыкант, журналист, переводчик. Автор пяти поэтических книг и двух книг по истории музыки. Бэндлидер, инициатор ряда джазовых и танго-

проектов, литературных чтений, музыкальных и литературных фестивалей. Председатель Содружества русскоязычных литераторов Германии СлоГ (с 2015 года). Лауреат премии московского журнала «Дети Ра» (2006), призёр берлинского открытого русского слэма (2006), лонг-лист премий «Московский счёт» (2010) и «Новый звук» (2014). Стипендиат Берлинского сената (2019). В Германии с 1994 года. Живёт в Берлине.

**Виктор Каган** (1943, Томск). Поэт. Психотерапевт, доктор медицинских наук, M.D., Ph. D. (США). Автор более десяти поэтических книг и переводов с английского и немецкого, в том числе: «Долгий Миг» (1994), «Превращение слова» (2009), «Петли времени» (2012), «Отражения. Стихофотопись» (2016, США), «Новое несовершенство: верлибры» (2017), «Музы Припарнасья» (2017) «Обстоятельства речи» (2018), «Против стрелки» (2020), «Вслушиваясь» (перевод с английского книги стихотворений Гэри Уайтеда *Having listened*, 2015), «Стихи из концлагеря» (перевод с немецкого книги Ганса Гюнтела Адлера, 2019). Стихи, проза, эссеистика публиковались во многих российский и зарубежных бумажных и электронных изданиях. Дипломант Международного литературного Волошинского конкурса (2005, 2008), Лауреат премии «Серебряный век» по итогам книжной ярмарки «Нон-фикшн» (2009), премия «Золотая Психея» за книгу «Смыслы психотерапии» (2019). Жил в США. В Германии с 2013 года. Живёт в Берлине.

**Инна Краснопер** (Уфа). Поэтесса, художница, переводчица. Выпускница Университета Искусств Берлина («Танец. Контекст. Хореография») и Школы Вовлечённого Искусства «Что Делать». Публиковалась в журналах [Транслит] и «Носорог»; на площадках *stadtsprachen magazin*, «Ф-письмо», «ГРЁЗА», Colta.ru, «Солонеба», «Артикуляция» и других. Автор поэтической книги «Нитки торчат» (2021, Центре Вознесенского). Русскоязычные тексты переводились на немецкий и польский языки. Публикации на английском и других языках в *SAND Journal*, *Pocket Samovar*, «Двоеточие». В Германии с 2011 года. Живёт в Берлине.

**Юлия Лебедева** (1987, Брянск). Специалист по коммуникациям и маркетингу. Фотограф. В Германии с 2001 года. Живёт в Мюнхене.

**Михаил Либин** (1941, Свердловск, 1941). Режиссёр кино и ТВ. В Германии с 2002 года. Живёт в Потсдаме.

**Лейли Нариманова** (1971, Москва). Педагог детской театральной студии, актриса Театра-студии «8+». Окончила МГУ. Публиковалась в американском журнале *ASID Eye On Design*, а также в периодических изданиях Вены на русском и немецком языках. С 2003 года живёт в Австрии.

**Майя Салихова** (1978, Кишинёв). Филолог, юрист. В Германии с 1995 года. Живёт в Берлине.

**Алёна Тайх** (1969, Киев – 2022, Гейдельберг). Поэт. Магистр иудаики. Работала социальным педагогом и в библиотеках, а также в архиве Гейдельбергского университета. Публиковалась в журналах «Берлин.Берега», «Партнёр», в альманахах «Радуга», «Егупец», а также в сетевых изданиях. Входила в длинные и короткие списки различных конкурсов. В Германию переехала в 1993 году. Жила в Гейдельберге.

**Михаил Шлейхер** (1975, Свердловск-44). Прозаик. Руководитель студии дизайна. Публикации на русском и немецком языках в изданиях «Урал», «Неприкосновенный запас», «Крещатику», «Литературный европеец», «Вечерний Нью-Йорк», «Вечерняя Москва», «Крушение барьера», «Артикуляция», «Феникс», «Ардоз», *Kulturwelten*, «УрУ», «ТЕКСТЪ» в сборниках «Берлин без маски», «40 лет без цензуры», *Schloss Moabit, Geschichten + Gerichte, Schreib, Kieler Literaturtelefon* и других. Сопредседатель Содружества русскоязычных литераторов Германии (СЛОГ). В Германии с 1996 года. Живёт в Берлине.

**Генрих Шмеркин** (1947, Харьков). Электротехник. Был участником литературной студии под руководством Бориса Чичибабина. Автор книг стихов и прозы «Берлинская стена плача», «Иронизменно о возвышенном», «Хождение по музам», «Я надену зубы золотые», «Харьковское море», «Великая эпоха», «Кент Вавилон». Ряд публикаций в российской, украинской и зарубежной периодике, включая юмористические и сатирические издания. Член Союза русских писателей Германии. Ряд стихов и рассказов переведен на немецкий язык. В Германии с 1992 года. Живёт в Кобленце.

**Вероника Шмитт** (1996, Москва). Окончила филологический факультет МГУ, изучала сравнительное литературоведение в Мюнхенском университете им. Людвига и Максимилиана, получила степень магистра в 2020 году. Аспирантка факультета славистики в американском Северо-Западном университете (штат Иллинойс). Живёт в США.

**Даша Эдлер** (1987, Баку). Пианистка. Постоянный автор «Берлин.Берега». В Германии с 2012 года. Живёт в Берлине.

**Анастасия Юркевич** (1973, Москва). Училась в Германии и Австрии, работала с ООН. Постоянный автор «Берлин. Берега». Публикации в журналах «Гвидеон», «Плавучий мост», «Новый Журнал», «Эмигрантская Ли́ра», «Интерпоэзия». Первые премии конкурсов «Эмигрантская Ли́ра» (2015), «Наследие» (2017), специальная премия журнала «Интерпоэзия» (2015). Автор книги «В обратном порядке» (2017). В Германии с 1992 года. Живёт в Берлине.

## Zusammenfassung

Die Literaturzeitschrift „Berlin.Berega“ stellt in seiner neuesten Ausgabe folgende Texte vor:

Übersetzungen aus dem poetischen Werk **Christian Hoffmann von Hoffmannswaldaus**. Die Gedichte wurden von **Veronika Schmitt** (USA) übersetzt, ergänzt durch einen ausführlichen Essay über den Dichter. Eine weitere Übersetzung hat **Ekaterina Vassilieva** (Berlin) besorgt: es handelt sich um die Erzählung „Im Sparwald“ von **Jonas-Philipp Dallmann** (mit einem Vorwort der Übersetzerin).

Ein Interview mit **Achim Ditzen**, einem der Söhne des Schriftstellers **Hans Fallada** (eigentlich: **Rudolf Ditzen**). Achim Ditzen erzählt aus seiner Kindheit, den Beziehungen zu seiner Verwandtschaft und äußert sich zu den Büchern und der Persönlichkeit Falladas.

Gedichte von **Viktor Kagan**, **Anastassia Jurkewitsch**, **Inna Krasnoper** (alle Berlin), **Olga Bragina** (ursprünglich Kyjiw) sowie **Zhenya Berkovich** (Moskau). Weitere Gedichte stammen von **Alona Teich**, die jedoch posthum erschienen. Teich, die in Heidelberg lebte, starb Anfang März 2022.

Einen Monolog: Die deutsche Slavistin **Annelie Bachmaier** spricht in Form eines Monologs über ihr Buch „Fremdes schreiben – fremdes Schreiben. Konzeptionen von Alienität in der Prosa **Aleksandr Grins**“. Bachmaier erläutert ihr Interesse an Grin und seinem Werke und erzählt von ihrer Arbeit an dem Buch.

Rezensionen von **Dascha Edler** und **Maja Salikhova** (beide Berlin) der Bücher von **Katja Petrowskaja** „Das Foto schaute mich an“ und **Aleksej Dunajewskij** „Berlinala. Die inoffizielle Geschichte des Preises“. Dazu hat **Julia Lebedeva** (München) einen Beitrag geschrieben, in dem sie den Roman „Der Russe ist einer, der Birken liebt“ von **Olga Grjasnowa** und den

Film nach dem Buch miteinander vergleicht. **Leyli Narimanova** (Wien, Österreich) verfasste eine Kurzrezension, in der sie ihre Eindrücke von der Theatervorstellung zum 20. Jahrestag des Angriff auf das Moskauer Musical „Nord-Ost“ schildert.

Prosa von **Genrich Schmerkin** (Koblenz), **Mikhail Libin** (Potsdam), **Michael Schleicher** und **Dmitri Dragilew** (beide Berlin).

## ФРАГМЕНТЫ

### Читайте в этом номере

А вчера было больно, кажется.  
Хоть чужая кровь, да всё мажется.  
Как-то рыпались, что-то делали,  
А сегодня молчок, молчок.  
А вчера выходили смелые,  
Поднимали плакаты белые,  
Говорили: «Всё скоро кончится».  
Вот и кончилось, дурачок.

*Женя Беркович*

Я вижу его как человека, бывшего не в ладах с самим собой, но с талантом, который он всё-таки мог реализовать. Но он был несчастным человеком. Я думаю, он также и страдал от своего дара. Талант давал ему много хорошего, но он был для него и навязчивостью, давлением.

*Ахим Дитцен о своём отце, Хансе Фалладе*

Мы читаем о Чернобыле, о перестройке, о падении Берлинской стены, о сталинских репрессиях, о движении за гражданские права в США, об одержимости технологическим прогрессом в СССР, о современной экологической катастрофе, и ненадолго нас охватывает иллюзия власти над временем, иллюзия возможности запечатлеть в искусстве то, что нужно поскорее отбросить, то, что мешает двигаться дальше вперёд.

*Даша Эдлер*

